

ВЛАДИМИР СОРОКИН



18+

Владимир Сорокин

Первый субботник (сборник)

«Corpus (АСТ)»

1992

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сорокин В. Г.

Первый субботник (сборник) / В. Г. Сорокин — «Corpus (АСТ)»,
1992

В ранних рассказах Владимира Сорокина, написанных в 1979–1984 гг., легко разглядеть начало мощного стилистического эксперимента, по сути целого литературного направления, главным и ярчайшим представителем которого до сих пор остается тот, кто его задал. Название “Первый субботник” – подходящая метафора для того, как молодой автор обошелся с дряхлевшим вместе со страной клишированным официальным языком. Герои каждого из рассказов сборника обречены: если в начале они успешно мимикрируют под живых людей, к концу их ждет полное разложение – они превращаются в разрозненные визуальные и речевые атрибуты или просто в кучку гнилой плоти. Содержит нецензурную брань.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Сорокин В. Г., 1992
© Corpus (АСТ), 1992

Содержание

Сергей Андреевич	6
Соревнование	13
Геологи	15
Желудевая Падь	18
Заседание завкома	20
Прощание	32
Первый субботник	34
В Доме офицеров	38
Санькина любовь	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Владимир Сорокин

Первый субботник (сборник)

© В. Сорокин, 1992

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО “Издательство АСТ”, 2018

Издательство CORPUS ®

* * *

Сергей Андреевич

Соколов подбросил в костер две сухие еловые ветки, огонь мгновенно охватил их, потянулся вверх, порывистыми языками стал лизать днище прокопченного, висящего над костром ведра.

Сергей Андреевич посмотрел на корчащиеся в голубоватом пламени хвоинки, потом перевел взгляд на лица замороженных костром ребят:

– Роскошный костер, правда?

Соколов качнул головой:

– Да...

Лебедева зябко передернула худенькими плечами:

– Я, Сергей Андреевич, сто лет в лесу не была. С восьмого класса.

– Почему? – Он снял очки и, близоруко шурясь, стал протирать их носовым платком.

– Да как-то времени не было, – проговорила Лебедева.

– Что ж ты с нами на Истру не поехала тогда? – насмешливо спросил ее Савченко.

– Не могла.

– Скажи – лень было. Вот и все.

– Вовсе и не лень. Я болела.

– Ничего ты не болела.

– Болела.

Сергей Андреевич примирительно поднял свою узкую руку с тонкими сухощавыми пальцами:

– Ну, хватит, Леша, оставь Лену в покое... Вы лучше присмотритесь, какая красотища кругом. Прислушайтесь.

Ребята посмотрели вокруг.

Порывистый огонь костра высвечивал темные силуэты кустов и молодых березок. Поодаль неподвижной стеной темнел высокий смешанный лес, над которым в яркой звездной россыпи висела большая луна.

Стояла глубокая ночная тишина, нарушаемая потрескиванием костра.

Пахло рекой, прелью и горелой хвоей.

– Здорово... – протянул, привставая, кудрявый и широкоплечий Елисеев, – прямо как в “Дерсу Узала”.

Сергей Андреевич улыбнулся, отчего вокруг молодежь, скрытых толстыми стеклами очков глаз собрались мелкие морщинки:

– Да, ребята, лес – это удивительное явление природы. Восьмое чудо света, как Мамин-Сибиряк сказал. Лес никогда не может надоесть, никогда не наскучит. А сколько богатств в лесу! Кислород, древесина, целлюлоза. А ягоды, а грибы! Действительно – кладовая. Человеку без леса очень трудно. Невозможно жить без такой красоты...

Он замолчал, глядя в неподвижную стену леса.

Ребята смотрели туда же.

– Лес-то, это, Сергей Андреевич, конечно, хорошо, – улыбаясь, пробормотал Елисеев. – Но техника все-таки лучше.

Он похлопал висящий у него на плече портативный магнитофон:

– Без техники сейчас шагу не ступишь.

Сергей Андреевич повернулся к нему, внимательно посмотрел:

– Техника... Ну что ж, Витя, техника, безусловно, дала человеку очень много. Но мне кажется, главное, чтобы она не заслонила самого человека, не вытеснила его на задний план. Лес этого сделать никогда не сможет.

Ребята посмотрели на Елисеева.

Оттопырив нижнюю губу, он пожал плечами:

– Да нет, я ничего... Просто...

– Просто помешался ты на своей поп-музыке, вот и все! – перебила его Лебедева. – Без ящика этого шага ступить не можешь.

– Ну и что, плохо, что ли? – Он исподлобья посмотрел на нее.

– Да не плохо, а вредно! – засмеялась она. – Оглохнешь – никто в институт не примет!

Ребята дружно засмеялись.

Сергей Андреевич улыбнулся:

– Ну, Лебедева, тебе палец в рот не клади.

– А что ж он, Сергей Андреевич, носится, как с писаной торбой...

– А тебе какое дело? – буркнул Елисеев. – Ты тоже без своей консерватории прожить не можешь...

– Так это ж консерватория, чудак! Бах, Гайдн, Моцарт! А у тебя какие-то лохматые завывают.

– Сама ты лохматая.

Сергей Андреевич мягко взял Елисеева за плечо:

– Ну-ну, Витя, хватит. Ты ведь собираешься в МАИ идти. А летчикам нужна выдержка.

– А я не летчиком буду, а конструктором, – пробурчал раскрасневшийся Елисеев.

– Тем более. Вот что, друзья. Давайте-ка, пользуясь такой ясной погодой, вспомним астрономию.

Сергей Андреевич встал, отошел немного поодаль и, сунув руки в карманы своей легкой куртки, посмотрел в небо.

Оно было темно-фиолетовым, звезды светились необычайно ярко и казались очень близкими. Край ослепительно белой луны был слегка срезан.

– Лучше и наглядней любой карты, – тихо проговорил Сергей Андреевич и быстрым лаконичным движением поправил очки. – Тааак... Что это за вертикальное созвездие вон там?

Он вытянул вверх руку:

– Ну, кто смелый? Олег?

– Волосы Вероники? – неуверенно пробормотал Зайцев.

Сергей Андреевич отрицательно покачал головой:

– Оно правее и выше. Вон оно, под Гончими Псами... Витя?

– Кассиопея! – громко проговорил Елисеев, сунув руки в карманы джинсов и запрокидывая голову. – Точно, Кассиопея.

Стоящий рядом Соколов усмехнулся.

– Два с минусом, – проговорил Сергей Андреевич и быстро показал. – Вон твоя Кассиопея, возле Цефея.

Лебедева засмеялась.

Елисеев почесал затылок, пожал плечами:

– Но они вообще-то чем-то похожи...

– На тебя! – хихикнула Лебедева и из-за спины Соколова шлепнула Елисеева по затылку.

– Вот ненормальная, – усмехнулся Елисеев.

Сергей Андреевич повернулся к ребятам:

– Неужели никто не знает? Дима?

Савченко молча покачал головой.

– Лена?

Лебедева со вздохом пожала плечами.

– Просто перемешалось после экзаменов все в голове, Сергей Андреевич, – протянул Зайцев.

Елисеев усмехнулся, ногой поправил вывалившуюся из костра ветку:

– У кого перемешалось, а у кого наоборот – все вылетело. Как в аэродинамической трубе...

Ребята засмеялись.

– А вот Мишка точно знает, по глазам видно, – покосилась Лебедева на Соколова.

Соколов смущенно посмотрел в костер.

Сергей Андреевич перевел взгляд на его узкое спокойное лицо:

– Знаешь, Миша?

– Знаю, Сергей Андреевич. Это созвездие Змеи.

– Тааак, – утвердительно качнул головой учитель. – Молодец. А над Змеей что?

– Северная Корона, – сдержанно проговорил Соколов в полной тишине.

– Правильно. Северная Корона. В ней звезда первой величины. А вот слева что за созвездие?

– Геркулес.

– А справа?

– Волопас.

Сергей Андреевич улыбнулся:

– Пять с плюсом.

Елисеев покачал головой:

– Ну, Мишка, ты даешь. Прямо как Джордано Бруно.

Соколов смотрел в небо, теребя край куртки.

Закипевшая в ведре вода побежала через край, с шипением полилась на костер.

– Ух ты, прозевали! – засуетился Елисеев, хватаясь за один из концов поперечной палки, на которой висело ведро. – Олег, снимаем быстро!

Зайцев взялся за другой конец.

Вдвоем они сняли ведро с огня и аккуратно поставили на усыпанную золой траву.

Сергей Андреевич подошел, наклонился:

– Так. Закипела. Ну, давайте чай заварим.

Ребята стали высыпать чай из заранее приготовленных пачек в кипяток.

– А может, и сгущенку туда сразу, а? – вопросительно посмотрела Лебедева.

– Что ж, идея хорошая, – кивнул головой учитель.

Елисеев достал две банки из рюкзака и принялся открывать их. Лебедева тем временем мешала в ведре свежееобструганной палкой. Быстро открыв банки, Елисеев опрокинул их над ведром. Двумя белыми тягучими полосами молоко потянулось вниз...

Вскоре ребята и учитель с удовольствием пили сладкий ароматный чай, прихлебывая его из кружек.

Влажный ночной ветерок качнул пламя угасающего костра, принес запах реки.

Слабеющие язычки плясали над янтарной грудой углей, колеблясь, пропадая и появляясь вновь.

– Самый раз – картошку положить, – предложил Зайцев, прихлебывая чай.

– Точно, – согласился Елисеев и палкой стал разгребать угли, щурясь от жара.

Сергей Андреевич допил свой чай и поставил кружку на пенек:

– Лена, а ты, кажется, в текстильный собираешься?

Кружка Лебедевой замерла возле ее губ.

Лена посмотрела на учителя, потом опустила кружку, перевела взгляд на костер:

– Я, Сергей Андреевич... я...

Она набрала побольше воздуха и твердо произнесла:

– Я решила пойти на ткацкую фабрику.

Ребята молча посмотрели на нее.

Раскапывающий угли Елисеев удивленно хмыкнул:

– Ну, ты даешь! Отличница – и к станку. Шпульки мотать...

– А это не твое дело! – перебила его Лебедева. – Да, я иду на фабрику простой ткачихой. Чтобы по-настоящему почувствовать производство. А цену своим пятеркам я знаю.

Елисеев пожал плечами:

– Но тогда можно было пойти на заочный или на вечерний, а самой работать...

– А мне кажется, что лучше просто отработать год, а потом поступить на дневной. Тогда мне и учиться легче будет, и жизнь побольше узнаю. У нас в семье все женщины – потомственные ткачихи. И бабушка, и мама, и сестра.

– Правильно, Лен, – кивнул головой Зайцев. – Мне мой дядя рассказывал про молодых инженеров. Пять лет отучатся, а предприятия не знают...

Сергей Андреевич понимающе посмотрел Лебедевой в глаза:

– Молодец. В институте ты будешь учиться еще лучше. А год на фабрике – это очень полезно. Я тоже в свое время прежде, чем в МГУ поступать, год проработал простым лаборантом в обсерватории. Зато потом на практических занятиях ориентировался лучше других.

Елисеев почесал затылок:

– Так, может, и мне сначала лаборантом в аэродинамической лаборатории поработать?

Сидящий рядом Зайцев хлопнул его по плечу:

– Точно, Витек. Ты в трубе вместо самолета стоять будешь.

Ребята засмеялись.

– Вот тогда из него всю дурь магнитофонную повыдует! – громче всех засмеялась Лебедева, вызвав новый взрыв хохота.

Елисеев замахал руками:

– Ну хватит надрываться! Что вы как ненормальные... давайте кладите картошку, а то угли остынут...

Ребята стали доставать картошку из рюкзаков и бросать в угли.

Елисеев закапывал ее, ловко орудуя палкой.

Савченко склонился над пустым ведром:

– А что, чай кончился уже?

– Так его и было немного – полведра всего. Все же выкипело...

– Ребят, сходите кто-нибудь за водой! – громко попросила Лебедева. – Мы сейчас новый чайек поставим.

Сергей Андреевич взял ведро:

– Я схожу.

Стоящий рядом Соколов протянул руку:

– Сергей Андреевич, лучше я.

– Нет, нет, – учитель успокаивающе поднял ладонь. – Ноги затекли. Насиделся.

– Тогда можно мне с вами? Все-таки далеко нести...

Учитель улыбнулся:

– Ну пошли.

Они двинулись к лесу.

Невысокая июньская трава мягко шелестела под ногами, ведро в руках Сергея Андреевича тихо позвякивало.

Большие, освещенные луной кусты обступали со всех сторон, заставляя петлять между ними, отводить от лица их влажные ветки.

Сергей Андреевич неторопливо шел впереди, насвистывая что-то тихое и мелодичное.

Когда вошли в лес, стало прохладно, ведро зазвенело громче.

Сергей Андреевич остановился, кивнул головой наверх:

– Смотри, Миша.

Соколов поднял голову.

Вверху сквозь слабо шевелящуюся листву мутно-белыми полосами пробивался лунный свет, а сама луна посверкивала в макушке высокой ели. Полосы молочного света косо лежали на стволах, серебрили кору и листья.

– Прелесть какая, – прошептал учитель, поправляя очки, в толстых линзах которых призрачно играла луна. – Давно такого не видел. А ты?

– Я тоже, – торопливо пробормотал Соколов и добавил: – Луна какая яркая...

– Да. Недавно полнолуние было. Сейчас ее в рефрактор как на ладони видно...

Сергей Андреевич молча любовался лесом.

Через некоторое время Соколов спросил:

– Сергей Андреевич, а наш класс будет каждый год собираться?

– Конечно. А что, уже соскучился?

– Да нет... – замялся Соколов. – Просто... я вот...

– Что? – Учитель повернулся к нему.

– Ну я...

Он помолчал и вдруг быстро заговорил, теребя ветку орешника:

– Просто... Вы для меня столько сделали, Сергей Андреевич... и вот кружок, и астрономией я полюбил поэтому... А сейчас – выпуск, и все. Нет, я понимаю, конечно, мы должны быть самостоятельными, но все-таки... я...

Он замер и быстро проговорил начавшим дрожать голосом:

– Спасибо вам за все, Сергей Андреевич. Я... я... никогда в жизни не забуду то, что вы для меня сделали. Никогда! И вы... вы... вы великий человек.

Он опустил голову.

Губы его дрожали, пальцы судорожно комкали влажные листья.

Сергей Андреевич нерешительно взял его за плечо:

– Ну что ты, что ты, Миша...

Минуту они простояли молча.

Потом учитель заговорил – тихо и мягко:

– Великих людей, Миша, очень мало. Я же не великий человек, а простой учитель средней школы. Если я тебе действительно в чем-то помог – я очень доволен. Спасибо тебе за теплые слова. Парень ты способный, и, мне кажется, из тебя должен получиться хороший ученый. А вот расстраиваться, по-моему, ни к чему. Впереди новая жизнь, новые люди, новые книги. Так что повода для хандры я не вижу.

Он потрепал Соколова по плечу:

– Все будет хорошо. Класс ваш дружный. Каждый год встречаться будем. А ко мне ты в любое время заходи. Всегда буду рад тебе.

Соколов радостно поднял голову:

– Правда?

– Правда, правда, – засмеялся Сергей Андреевич и слегка подтолкнул его. – Ну, пошли, а то ребята чаю не дождутся.

Они двинулись через призрачно освещенный лес.

Ведро снова стало поскрипывать, сучья захрустели под ногами.

Сергей Андреевич шел первым, осторожно придерживая и отводя гибкие ветки кустов.

Лес расступился, кончился резким обрывом с неровными краями, поросшими мелким кустарником.

Внизу блестела узкая полоска реки, сдавленная зарослями буйно разросшегося камыша.

За рекой долго тянулось мелкоколесье, и лишь вдалеке поднимался темный массив соснового бора.

Сергей Андреевич постоял на краю обрыва, молча разглядывая открывшийся вид, потом шагнул вниз и молодецкато сбежал к реке по крутому песчаному спуску.

Соколов спустился следом.

Возле реки песок был плотным и мокрым.

Сергей Андреевич ступил на лежащий в воде пень, зачерпнул ведром:

– Вот так...

Слева из густых камышей вылетел бекас и, посвистывая, полетел прочь.

– Красота какая, – проговорил учитель, опуская ведро на песок. – Вот что значит – природа, Миша...

Он помолчал, потом, сунув руки в карманы куртки, продолжал:

– Как все гармонично здесь. Продуманно. Непроизвольно. Вот у кого надо учиться – у природы. Я, признаться, если раз в месяц сюда не съезжу – работать не могу...

Он посмотрел вдаль.

Сосновый бор тянулся до самого горизонта, растворяясь в розовой дымке, подсвечивающей на востоке ночное небо.

Соколов тихо проговорил:

– А мне, Сергей Андреевич, это место тоже очень нравится. Я сюда обязательно приеду.

– Приезжай, – кивнул учитель. – Здесь как бы силу набираешь. Чистоту душевную. Как будто из заповедного колодца живую воду пьешь. И после воды этой, Миша, душа чище становится. Вся мелочь, дрянь, суета – в этот песок уходит...

Он поднял ведро и пошел вверх по осыпающемуся песку.

Наверху Соколов протянул руку к ведру:

– Сергей Андреевич, можно я понесу?

– Неси, – улыбнулся учитель, передал ему ведро и добавил: – Иди, я попозже подойду.

Воздухом лесным подышать хочется...

Соколов подхватил тяжелое ведро и двинулся через лес.

Сергей Андреевич стоял над обрывом, скрестив руки на груди и глядя перед собой.

Пройдя десятка два шагов, Соколов оглянулся.

Неподвижная фигура учителя четко вырисовывалась между стволами.

Соколов шагнул в сторону и встал за молоденькую елку, поставил ведро рядом с собой.

Учитель постоял минут пять, потом вошел в лес, забирая немного вбок.

Пройдя меж двух близко растущих берез, он остановился, расстегнул ремень, спустил брюки и присел на корточки.

Широкая полоса лунного света падала на него, освещая спину, голову, скрещенные на коленях руки.

Послышался слабый, прерывистый звук выпускаемых газов, Сергей Андреевич склонил голову, тихо постанывая, и снова до слуха Соколова долетел такой же звук, – более громкий, но менее продолжительный.

Соколов смотрел из-за елки, растирая пальцами молодую хвою.

Сзади протяжно закричала какая-то птица.

Через некоторое время Сергей Андреевич приподнялся, протянув руку, сорвал несколько листьев с орешника, подтерся, подтянул штаны, застегнул и, посвистывая, двинулся в ту сторону, где мелькал между стволами огонек костра.

Он шел уверенно и быстро, треща валежником, поблескивая очками.

Вскоре его худощавая фигура пропала в темноте леса, а немного погодя пропал и звук легкого посвистывания.

Постояв в темноте и прислушиваясь, Соколов поднял ведро и двинулся вперед. Перешагивая поваленное дерево, он неосторожно качнул ведром – холодная вода плеснула на ботинок.

Перехватив ведро в другую руку, он обошел елку и направился к двум близко растущим березам. Лунный свет скользил по их стволам, заставляя бересту светиться на фоне темного ельника.

Соколов прошел между березами и остановился. Перед ним лежала небольшая, залитая луной поляна. Невысокая трава искрилась росой, листья орешника казались серебристо-серыми.

Над поляной стоял еле слышный запах свежего кала.

Соколов оглянулся по сторонам.

Кругом неподвижно маячили темные силуэты деревьев. Он посмотрел перед собой, сделал пару шагов и, опустив ведро, присел на корточки.

Небольшая кучка кала лежала в траве, маслянисто поблескивая. Соколов приблизил к ней свое лицо. От кала сильно пахло. Он взял одну из слипшихся колбасок. Она была теплой и мягкой. Он поцеловал ее и стал быстро есть, жадно откусывая, мажа губы и пальцы.

Снова где-то далеко закричала ночная птица.

Соколов взял две оставшиеся колбаски и, попеременно откусывая то от одной, то от другой, быстро съел.

В лесу стояла тишина.

Подобрав мягкие крошки и тщательно вытерев руки о траву, он наклонил ведро и стал жадно пить. Черная бездонная вода качнулась возле его лица, вместе с ней качнулась луна и перевернутые созвездия.

Соколов жадно пил, обняв холодное ведро потными ладонями и наблюдая, как дробится, распадается на блики вертикальная палочка созвездия Змеи.

Соревнование

Лохов выключил пилу, поставил ее на свежий пенёк:

– Они третью делянку валят. Там еще с ними этот... Васька со Знаменской...

– Михалычев? – спросил Будзюк, откинув сапогом толстую сосновую ветку.

– Он самый. А завел их ясно кто – Соломкин. Вчера в конторе мне ребята рассказывали. У них комсомольское собрание было, ну и Соломкин выступал. Мы, говорит, всегда за будзюковской шли, а теперь кровь из носу – будем первыми. Ну и началось. Я щас шел, они там как стахановцы – валят, не разгибаясь.

Будзюк вздохнул, потер о рукав испачканную в смоле ладонь:

– Да... Соломкин – он боевой парень, я знаю... этот заведет...

– Да и остальные тоже, знаешь, они ведь как на подбор там – после армии только.

Силушку девать некуда...

Будзюк молча кивнул головой.

Над просекой парили два ястреба. Лохов снял фуражку, вытер вспотевший лоб:

– Я еще раньше сказать хотел, да знаешь, как-то...

– Что?

– Ну, не знаю...

Будзюк рассмеялся:

– Чего, испугался, что ли?

– Да нет, Сень. Просто при ребятах не хотелось. Пусть сами в конторе узнают.

Будзюк стряхнул с брюк опилки:

– А не все ли равно – когда. Да и чего такого? Ну вызвали на соревнование, ну и что?

Лохов почесал щеку:

– Сень, а может, пусть они с васнецовской соревнуются, а?

Будзюк насмешливо посмотрел на него:

– Чего – сдрейфил?

– Да нет... просто годы уже не те... напахался, да и ты тоже...

Будзюк покачал головой:

– Да-а-а... как ты быстро на попятную. А я вот, Иван Алексеич, дорогой мой сродственник, тоже попахал за свою жизнь не меньше твоего. Но уступать первое место и вымпел каким-то там Соломкиным не желаю! А ребята щас вернутся, я им скажу, что соревноваться будем. Будем!

Лохов, прищурясь, смотрел на попискивающих ястребов. Будзюк поставил ногу в кирзовом сапоге на поваленную сосну:

– Да неужели у тебя простой человеческой гордости нет, Вань? Они ж молокососы, салаги зеленые! Ты что, думаешь, у наших сил не хватит? Да мой Жорка троих ихних стоит! А Петро? А Саня? За пояс мы их заткнем, факт! Они и леса-то не видали сроду, а туда же – перегоним! Штаны лопнут.

Лохов улыбнулся:

– Ну это как сказать, Сень. Они вон какие – угарные ребята.

– Бог с ними. Пусть пашут. Мы сноровкой возьмем, а не нахрапом.

– Да я-то не против, пожалуйста... только чего нам этот вымпел... премию и так получаем, прогрессивку тоже...

Будзюк махнул рукой:

– Скушный ты человек, Ваня. А еще потомственный лесоруб...

Он поднял свою пилу, тронул клапан подсоса, дернул шнур. Пила затарахтела, выпуская бело-голубой дым. Будзюк подхватил ее и понес к соснам.

Лохов нехотя встал:

– Сень, а может, ребят подождем?

Будзюк шел не оборачиваясь.

Лохов принялся заводить свою пилу. Один из ястребов сложил крылья и упал вниз. Будзюк подошел к сосне, быстро вырезал желобок, зашел с другого бока и всадил ленту в бугристый ствол. Пила заурчала, желтоватые опилки посыпались на сапоги. Полотно медленно входило в дерево. Будзюк слегка нажимал.

Лохов подошел с тарахтящей своей и принялся за соседнюю сосну.

Будзюковская сосна дрогнула, закрипела. Он отошел, перехватил пилу поудобнее. Сосна качнулась и стала валиться. Длинный ствол ее изогнулся и с треском обрушился на землю.

– На середку вали! – крикнул Будзюк согнувшемуся Лохову, и Лохов кивнул.

Будзюк шагнул к другой сосне, примериваясь, оглянулся, зашел с нужного бока и стал вырезать желобок.

Лохов отошел от своей. Сосна повалилась на только что упавшую.

– Щас шалашом свалим, а левые не трогай! Там в овраг валить надо! – прокричал ему Будзюк.

Пила в руках у Лохова зачихала и остановилась.

– Чего там? – прокричал Будзюк, входя в ствол с нового бока.

– Да “Дружба” старая... Андрея... выкидывать ее надо!

Будзюк отвернулся, сильнее налег на ручки.

Лохов покачал подсос, намотал шнур, дернул. Пила затарахтела и смолкла.

– Аааа... чтоб тебя...

Он стал снова наматывать шнур.

Будзюк повалил сосну, выбрал другую.

Лохов завел пилу, сплюнул и, переступив через ствол, посмотрел на стоящие неподалеку сосны:

– Хоть бы одна кривая... как на подбор...

Будзюк вырезал кустарник возле сосны.

– Давай помогу, Сень! – крикнул Лохов и зашагал к нему.

– Ты лучше иди вон те вали... или с этих сучья режь... во, позаросло... не продерешься!

– Лозовина, знамо дело!.. – крикнул Лохов, становясь рядом. Он сильнее прижал к ручке рычажок акселератора, быстро перекинул пилу влево и всадил полотно в шею склонившегося Будзюка. Темная кровь полетела из-под зубчатой ленты, голова вместе с потертой кепкой отделилась от шеи, упала в кусты. Ноги Будзюка подогнулись, пила врезалась в землю. Он повалился на пилу, суча ногами.

Лохов оглянулся, вытащил из-под безглавого тела пилу, подхватил свою и побежал, волоча их по земле, увертываясь от продолговатых полотен. Руки его прижимали рычажки акселераторов к рукояткам, пилы ревели, голубоватые шлейфы выхлопа тянулись за ними.

– Теперя и посоревнуемся... посоревнуемся... – бормотал Лохов, огибая пни.

Он пробежал через просеку, пересек овраг и оказался на обрыве. Внизу неторопливо текла Соша, трое ребяташек сидели на мостках и удили рыбку.

Заметив Лохова с ревушими пилами в руках, они приподнялись:

– Во, дядь Ваня двумя прям...

– А шумят-то...

– Дядь Вань, а ты батяньку моего не видал?

Лохов свистнул, одно из полотен коснулось его ноги, он вздрогнул. Ребята смотрели на него.

– Вот и посоревнуемся теперя... – пробормотал Лохов, разбежался и вместе с воющими пилами полетел в воду.

Геологи

В черной от копоти, выдавшей виды печурке звонко потрескивали дрова, из полуприкрытой чугунной дверцы полыхало пламя, бросая янтарные отблески на лица геологов.

Соловьев в последний раз затянулся папиросой и сунул окурочек в оранжевую щель.

Сидящий рядом на низеньком кедровом стульчаке Алексеев поигрывал широким охотничьим ножом, монотонно втыкая его в сучковатое полено.

Соловьев вздохнул и встал, едва не коснувшись вихрастой головой прокопченного потолка зимовья:

– Нет, ребята. Решать надо сегодня.

Авдеенко молча кивнул, Алексеев неопределенно пожал плечами, продолжая втыкать нож, а сидящий у заиндеветшего окошка Иван Тимофеевич все так же неторопливо попыхивал своей желтой костяной трубкой.

– Саша, ну что ты молчишь? – повернулся Соловьев к Алексееву.

– Я уже все сказал, – тихо и внятно проговорил Алексеев. Его широкое бородатое лицо, высвеченное оранжевыми всполохами, казалось невозможным.

– Но ведь твоё предложение по крайней мере нелепо! – тряхнул головой Соловьев. – Что же – бросить друзей в лавиноопасной зоне, а самим сматывать удочки?!

Широкий нож с силой воткнулся в полено:

– А по-твоему, значит, стоит пустить псу под хвост год тяжелейшей работы?

– Но люди-то дороже образцов, Саша! – неловко всплеснул руками Соловьев.

– Конечно, – согласился Авдеенко, глядя на Алексеева.

Тот раздраженно ударил ручкой ножа по колену:

– Ну что вы как дети! Давно они уже в Усть-Северном, ваши Сидоров с Коршевским! Давно! Голову даю на отсечение – сидят сейчас и чай гоняют! И никакая лавина им не грозит!

– Но рация, Саша, рация-то говорит другое! – перебил его Соловьев. – Какие чай, если ребят нет в Усть-Северном?

– Нет – значит, через день-другой будут там, – уверенно отрезал Алексеев.

– А если они не пошли в Усть-Северный? – спросил Авдеенко, наклоняясь вперед и осторожно снимая с печурки кружку с дымящимся чаем.

– Придут, – с той же уверенностью проговорил Алексеев, нашаривая в карманах широких ватных брюк папиросы. – Про лавину они знают – раз, вертолет наверняка видели – два, геологи опытные – три. А потом, друзья мои, вы что, думаете, они на отвалах возьмут что-нибудь? При таком буране? Они там пару суток проторчат, не больше. И в Усть-Северный двинутся...

Он сунул в печку сухую кедровую веточку, вынул и прикурил от охватившего ее пламени.

– Ты так рассуждаешь, будто все уже известно наперед, – грустно усмехнулся Авдеенко. – Но ведь в Усть-Северный они собирались только на следующей неделе. По плану-то так.

– Николай, ну что ты говоришь? Что они – пацаны, что ли? У Коршевского десятилетний стаж, он эти места знает как свои пять! Неужели, по-твоему, они настолько глупы, чтобы по вертолетам и стрельбе не догадаться о лавине? Да и продукты у них на исходе. Значит, пойдут в Усть-Северный. Я точно говорю вам, пойдут! А вы вот с Петром – настоящие паникеры. Рассуждаете как младенцы – бросить все, бросить образцы и идти искать! Где искать? Вдоль хребта? У Желтой Каменки? А может, к западному ущелью податься? Вы же сами ничего толком не знаете. Бросить образцы, чтоб их лавиной засыпало! Полный абсурд...

– А если не засыплет? – спросил Авдеенко. – Сюда лавина вряд ли дотянется...

– А если дотянется? Что тогда? – повернул к нему свое широкое лицо Алексеев. – Как мы в глаза Родникову посмотрим?

Они замолчали, сосредоточенно глядя на потрескивающую печурку.

Иван Тимофеевич все так же неторопливо курил. Загорелое скуластое лицо его было хмурым и сосредоточенным. Седые виски выглядывали из-под плотно натянутой вязаной шапки.

Авдеенко покачал головой:

– Да, образцы – это конечно... год собирали...

Вытянув губы, он стал осторожно прихлебывать горячий чай. Соловьев нетерпеливо сунул руки в карманы:

– Саша, давай-ка еще раз свяжемся с Усть-Северным.

Алексеев пожал плечами, встал:

– Пожалуйста.

В углу на грубо сколоченном столе поблескивала алюминиевой панелью новенькая рация. Подвинув стульчак, Алексеев уверенным движением надел наушники, щелкнул тумблером. На панели засветился красный огонек.

Алексеев быстро заработал ключом.

Потом перестал, поправляя наушники на голове, вслушиваясь в ответную россыпь морзянки.

– Ну вот... – тихо проговорил он, простукивая “отбой”. – Не пришли еще. Нет их. А вертолеты завтра утром, как пурга уляжется, опять полетят.

Выключив рацию, он снял наушники, встал:

– В общем, ребята, по-моему, надо собираться и с утрачка – в путь. Образцы тяжелые – добрые полтонны. Пока дойдем, пока что...

Сидящий возле окошка Иван Тимофеевич вздохнул и выпустил широкую струю дыма.

Все повернулись к нему.

Соловьев осторожно спросил:

– Иван Тимофеевич, ну а вы-то что думаете?

Иван Тимофеевич молча покусывал мундштук трубки.

Алексеев почесал бороду:

– В тупик зашли. Я – одно предложение, они – другое... дилемма...

Авдеенко поставил пустую кружку на стол:

– Первый раз такие разногласия. Иван Тимофеевич, вы вот геолог опытный, двадцать пять лет в партиях. Уж вы-то, наверное, знаете, что делать.

– Наверное, поэтому и молчите, – улыбнулся Соловьев.

Иван Тимофеевич ответно улыбнулся:

– Поэтому, Петя, поэтому...

Он приподнялся, выбил трубку о край стола, убрал в карман и облегченно выдохнул:

– Значит, так. Как говорил мой земляк Василий Иванович Чапаев, на все, что вы тут наговорили, – наплевать и забыть. Давайте-ка на кофейной гуще гадать не будем, а станем рассуждать по-серьезному. Оценивая сложившуюся ситуацию, мне кажется, что надо просто помучмарить фонку.

В наступившей тишине Алексеев качнул головой. По его лицу пробежало выражение восхищения:

– А ведь верно... как я не додумался...

Соловьев растерянно почесал затылок, тихо пробормотал:

– Да я, вообще-то... хотел то же самое...

Авдеенко одобрительно крикнул, шлепнув себя по коленке:

– Вот, орлы, что значит настоящий профессионал!

Потрепав его по плечу, Иван Тимофеевич вышел на середину избы, присел на корточки и костяшками пальцев три раза стукнул в оледенелый пол, внятно проговорив:

– Мысль, мысль, мысль, учкарное сопление.

Стоящие вокруг геологи хором повторили:

– Мысль, мысль, мысль, учкарное сопление.

Затем молодые геологи быстро встали рядом, вытянув вперед ладони и образуя из них подобие корытца.

Иван Тимофеевич сделал им знак головой.

Геологи медленно наклонились. Корытце опустилось ниже. Склонившись над ним, Иван Тимофеевич сунул себе два пальца в рот, икнул, содрогаясь.

Его быстро вырвало в корытце из ладоней.

Отдышавшись, он достал платок и, вытерев мокрые губы, проговорил:

– Мысль, мысль, мысль, полокурый вотлок.

Не меняя позы и стараясь не пролить на пол густую, беловато-коричневую массу, геологи внятно повторили:

– Мысль, мысль, мысль, полокурый вотлок.

Иван Тимофеевич улыбнулся и облегченно вздохнул.

В печке слабо потрескивали и с шорохом разваливались прогоревшие поленья.

За маленьким окошком свистела таежная вьюга.

Желудевая Падь

Дед осторожно опустился на поваленный дуб, потрогал гладкий, потерявший почти всю кору ствол:

– Вишь, чистый какой...

Сашка подошел, поставив рядом ведро с грибами:

– Что, объел кто?

– Да нет, сама отлупилась. – Дед достал кисет, стал медленно развязывать. – Дубовую кору мало кто ест. Горькая она. И твердая. Заяц яблоню уважает, а лось ольху...

Сашка сел рядом с дедом, сложил ножик и кинул в ведро, на лохматые шляпки груздей.

– Плохое тут место, дедуль. Грибов нет что-то. Сырота. Вот и ореховики одни да молодкане.

Дед развязал кисет, зачерпнул трубочкой крупно нарезанный табак:

– Сырота, она и есть... Вон низина-то какая. От этого и дубы валятся. И желуди на них не держатся...

– Поэтому и Желудевой Падью назвали?

– А как же. Желудевая Падь она и есть. Чуть желуди наклюнулись – и опали сразу, не созревши. Сырота...

Он достал спички, примял табак в трубке и закурил.

Сашка зевнул, положил руки на колени:

– Тетя Ната сейчас небось обедает.

– Ага, – кивнул головой дед. – Погодь, поспеем. Дай покурю малость. Тут идти-то версты полторы, не боле...

Он медленно потягивал трубку.

Ветра не было, и голубоватый дым волнисто расплывался возле его морщинистого лица с большим горбатым носом и гладкими белыми усами.

Сашка смотрел, как проступает в трубке сквозь табак оранжевый огонек:

– Дедуль, а почему ты тут сидеть любишь? Тут же грибов совсем нет и сыро.

Дед усмехнулся:

– Да так... памятное местечко...

– Как – памятное?

– Тут мой друг погиб. Крестного сын. Вася.

– Ты что-то не рассказывал.

Дед молча кивнул головой и продолжал курить.

Желудевая Падь лежала перед ними.

Толстые, тесно стоящие дубы кое-где переплелись корявыми ветвями, широкие стволы утопали в узорчатых листьях папоротника.

Лучи вечернего солнца, пробившиеся сквозь листву, играли на дубовой коре.

Дед выпустил дым сквозь усы, потрогал висок:

– Да... давно это было...

– В войну?

– В войну. В ее самую. Тут у нас немцы стояли, а мы с отрядом были верст семьдесят отсюда.

– Возле Черногатины?

– Да. А Вася из Малых Желтоух был. Выросли вместе, вместе в отряд ушли. Ну и невеста была у него. Не в Желтоухах, а у нас, на Слободке.

– Она жива щас?

– Нет. Лет семь тому померла. И его нет.

– А ты, дедуль, знаешь, как он погиб?

Дед снова усмехнулся:

– Да я ж видал все. Прямо на моих глазах.

– Правда?

– Правда, Саш, правда.

Дед раскурил погасшую трубку, вздохнул:

– В сентябре было. Мы тогда думали в Белоруссию идти, фронт там был. А у нас уж ни оружия, ни припасов не было. Ждать-то неоткуда. Что было – потратили. Так по лесам и отсиживались. Короткие вылазки делали. Ну и командир решил идти прорваться к нашим, чтоб зимой не околеть в лесу.

– Дедуль, а в деревнях вы не могли зимовать?

– В деревнях-то немцы, голова! Это ж все немчурой занято было. Вот. Ну и Васька, а он хороший разведчик был, на хорошем счету, упросил, стало быть, командира отпустить его за хлебом. А заодно и с невестой проститься. Ну и пошли мы. С подводой, тихохонько пошли. Шли ночь, день спали в кустах. Потом опять ночью. И вот только утро начинается, а мы впятером входим в Желудевую Падь.

Дед сощурился, пососал трубку:

– Солнце тогда еще токмо-токмо встало, туман еще, мга вокруг дубов. Кобылка наша плохонькая, ребра светятся. У телеги колеса ветошью обмотаны, чтоб не гремели. Идем, стало быть. Васька лошадь ведет, Сережка Осадчий сзади, Петька Бирюленок с Женькой на телеге, а я справа так-то во... – Дед встал, выпрямился с трубкой в зубах. – На грудях у меня автомат немецкий, две гранаты за поясом, френч, с офицера снятый. И вот, стало быть, только мы входим, значит, как...

Он вздрогнул, вынул изо рта дымящуюся трубку и громко заблеял высоким голосом:

– Ммееееее...

Впалый рот его широко открылся, обнажив редкие сточившиеся зубы, глаза закрылись, седая голова откинулась назад:

– Ммееееее...

Сашка недоумевающе уставился на него.

Дед вытянул перед собой руку с трубкой, качнулся и пошел по папоротникам, блея и трясясь.

– Дедуль... дедуль... – прошептал бледный Сашка, привставая.

Дед шел к дубам, высоко поднимая колени.

Дрожащий голос его эхом разносился по Желудевой Пади.

Заседание завкома

К заводскому клубу Витька Пискунов пришел в девятом часу – два фонаря уже горели, возле облупившихся десятиметровых колонн толпились парни. Заметив его, они перестали разговаривать, повернули к Витьке свои хмельные лица:

– Привет, Пискун.

– Здорово...

– Ну что – готов?

– Готов. Морально и физически. – Витька достал папиросу, приблизился к широколицему парню. – Дай-ка...

Парень вынул изо рта сигарету, протянул Витьке:

– Собрались уж. Тебя ждут.

– Черт с ними. – Витька прикурил.

– С ними-то с ними, а попотеть тебе придется, это точно.

– А что ты волнуешься? Мне ж потеть, не тебе. – Запрокинув голову, Витька выпустил вверх дым, посмотрел на звезды.

– Да я не волнуюсь, я так. – Парень затушил окурок о колонну. Другой парень – высокий и горбоносый, оскалясь, хлопнул Витьку по плечу:

– Ничего, робя, Витьку с кашей не съешь! Он сам кого хочешь слопает! Правда, Витьк?

Пискунов молча курил, привалившись к колонне.

– Да, Пискун, дозашибался ты, – качнул головой другой парень, – Не завидую.

– Ладно, Жень, не расстраивай его...

– А чего это они в клубе надумали?

– Зал на ремонте.

– Ааааа... Понятно.

Пискунов докурил, шелчком послал окурок в клумбу и, отстранив широколицего, двинулся к двери.

– На танцы придешь?

– Не знаю...

– В общем, Витек, бутыл с тебя по случаю такого случая, – хмыкнул горбоносый в спину Пискунова.

– Бутыл? – Оттянув дверь, Витька обернулся. – Хуиль! Бутыл сам поставишь, за футбол еще задолжал... А за мной не заржавеет, не бойсь...

Хлопнув дверью, он вошел в вестибюль.

Внутри было пусто. Окошечко кассы не горело. На вешалках висел халат уборщицы, три чьих-то пальто и серый плащ Клокова.

“Приперся, – подумал Пискунов, проходя по вестибюлю. – Этого хлебом не корми, дай позаседать”.

Дверь в зал была открыта. Пискунов вошел. На слабо освещенной сцене, прямо под громадным портретом Ленина, сидели люди. Они занимали середину длинного стола, покрытого красным сукном.

– Можно войти? – негромко спросил Пискунов. Его голос гулко разнесся по пустому залу.

– Входи, входи, – откликнулась Симакова. Она сидела в центре стола и перебирала какие-то бумаги.

– Он и здесь без опоздания не может. – Сидящий рядом с ней Хохлов посмотрел на часы. – Пятнадцать минут девятого.

– Привычка, – рассмеялся Клоков. – В кровь вошло уж. Как ни день – так Пискунов. Кто опоздал – Пискунов. Кто напился – Пискунов. Кто мастеру нагру...

– Сергей Васильевич, – перебила его Симакова, – о Пискунове после. Давайте с путевками закончим. А ты, Пискунов, сядь, посиди пока.

Витька, не торопясь, прошел меж кресел и сел с краю, поближе к двери.

– Если дать сто кузнечному и сто десять литейному, как Старухин предлагает, тогда механосборочному останется всего восемьдесят четыре путевки. А гаражу вообще двенадцать... то есть четырнадцать, – зашелестел бумагами Хохлов.

– Ну и правильно, – спокойно проговорила Звягинцева, постукивая карандашом по столу. – Механосборочный никогда план не выполняет, всегда завод подводит. Кузнечный с литейным поднажмут, а сборщики все на тормозах спустят: то станки у них ломаются, то текучесть кадров... Поэтому и завод-то не балуют – ни квартир, ни заказов, ни путевок.

– Ну, положим, квартир нет не только поэтому, – нахмурился Клоков. – У строителей не все ладится. Квартиры будут. В Ясенева три дома заложили, в Медведкове два. А сборщиков тоже понять нужно. У нас ведь и ответственность больше, и условия потяжелее. И платят нашим рабочим негусто...

– Да ну вас! – Звягинцева распрямилась, отчего два ордена, прикрепленные к ее серому жакету, слабо звякнули. – Платят негусто! Платят всем одинаково. Работать нужно. План выполнять. Тогда и платить хорошо будут, и заказы появятся, и путевки. Весь завод горит из-за сборщиков. Весь!

– Но ведь надо понять, что работать на конвейере тяжелее, а за сто сорок рублей никто особенно не горит жела...

– Понять! Вон сидит, поймите его! – Звягинцева показала карандашом в полутемный зал, где меж круглых кресел маячила голова Пискунова. – Ваш ведь фрукт, из механосборочного. Поймите его! Он зашибает, прогуливает, а мы его понять должны.

– Татьяна Юрьевна, хватит об этом, – проговорила Симакова. – Давайте путевки распределять. У меня завтра отчет в ВЦСПС, ночь еще сидеть... В общем, или дать всем поровну, или как Старухин предложил.

– Поровну нельзя, – вставил Урган. – Татьяна Юрьевна права. Лучше всех работают литейщики. Им и дать надо больше всех. А сборщики пусть на турбазу едут. Вон под Саратовом я был прошлый год – любо-дорого посмотреть. И питание хорошее, и Волга рядом. Не хуже юга.

– Точно. – Звягинцева повернулась к нему. – Пусть туда и едут. А то всем на юга захотелось. Пискунов вон тоже небось заявление писал. Писал, Пискунов?

– Я? – Витька поднял голову.

– Ты, ты. Я тебя спрашиваю.

– Эт что – в Ялту, что ль?

– Да.

– Чего я там не видал. Я лучше у тетки в Обнинске, тихо-мирно...

– Сознательный, – усмехнулась Звягинцева, – тихо-мирно. Все бы так – тихо-мирно! А то вон, – она толкнула пальцем пачку листов. – Четыреста заявлений!

– Значит, распределим, как Старухин предложил? – спросила Симакова.

– Конечно.

– Давайте так...

– Удобно и правильно.

– А главное – стимул. Хорошо поработал – путевка будет.

– Правильно.

– Голосовать будем?

– Да не надо. И так все ясно.

Симакова записала что-то в своем блокноте.

– Оксана Павловна, – наклонился вперед Хохлов, – у нас в цехе работает одна женщина, мать троих детей, активистка, общественница. Из старой рабочей семьи. Очень хотелось, чтоб ей дали путевку.

– И у меня тоже двое есть. Молодые, но общественники хорошие, – добавил Клоков.

– Всех общественников, ветеранов войны и инвалидов мы обеспечим, как всегда, – ответила Симакова, – но это все потом, товарищи. Главное – распределили по цехам. А там уж сами решайте. Давайте перейдем к вопросу о Пискунове. Встань, Пискунов! Иди сюда.

Витька неторопливо приподнялся, подошел к сцене.

– Поднимайся, поднимайся к нам.

По деревянным ступеням он поднялся на сцену и стал возле трибуны. С минуту сидящие за столом разглядывали его.

– А поновей брюк ты что – найти не смог? – спросил Клоков.

– Не смог. – Витька рассматривал метровый узел на галстук Ильича.

– Хоть бы почистил их. Вон грязные какие. Не на танцульки ведь пришел, не в винный магазин.

– На танцы бы у него нашлись другие, – вставила Звягинцева. – И брюки и рубашка. И галстук нацепил бы, не забыл. И пол-литру с дружками раздавил бы.

Симакова положила перед собой два листка:

– На завком поступили две докладные записки. Первая – от мастера механосборочного цеха товарища Шмелева, вторая – от профячейки цеха. В обеих товарищи просят завком рассмотреть поведение Пискунова Виктора Ивановича, фрезеровщика механосборочного цеха. Я их зачитаю... Вот, мастер пишет:

“Довожу до сведения заводского комитета профсоюза, что работающий в моей бригаде Виктор Пискунов систематически нарушает производственную дисциплину, что пьяным является на свое рабочее место, и что не выполняет производственные нормы, и что грубит начальству, рабочим и мне... Начиная с июня сего года Пискунов опять запил, он приходит на завод и сильно шатается, а также выражается грубыми нецензурными словами. Я много раз предупреждал его, просил и даже ругал, но он все как с гуся вода – пьет, ругается, грубит, хулиганит. Шестнадцатого июля, работая на фрезерном станке и фрезеруя торцы корпуса, он закрепил деталь наоборот, что вызвало крупную поломку станка. Когда же я накричал на него, он взял другую деталь и кинул в меня, но я увернулся и пошел к начальнику цеха. Пискунов и до этого не следил за своим станком, на реле он нацарапал матерное слово, а рядом нацарапал матерную картинку. А когда я просил его стереть, он говорил, что ему нужен стимул. А десятого июля в раздевалке он избил Федора Барышникова так, что того повели в медпункт. Из-за Пискунова наша бригада никогда не выполняла план, так как он больше двухсот корпусов никогда не фрезеровал, а норма – триста пятьдесят. Я много раз говорил начальству, но оно говорит, что и так у нас текучка, так что надо воспитывать, а не выгонять. И Пискунов, когда я его ругаю, ручку вынет и говорит: “Давай бумагу, сейчас заявление напишу, и не нужен мне ваш завод”. И плохо говорит о своей заводской семье. И ругается. Я проработал на нашем заводе двадцать три года и как член партии требую, чтобы к Пискунову применили эффективные меры, чтобы поговорили с ним эффективно, как следует. Его ведь два раза на завком посылали, а он хоть бы что. Весь наш коллектив присоединяется ко мне и требует эффективного разговора с Пискуновым. Мастер Андрей Шмелев”.

В приоткрытую дверь зала вошла уборщица с ведром и щеткой. Поставив ведро на пол, она сняла со щетки тряпку и стала мыть ее в ведре.

Симакова взяла в руки другой листок.

– А это от профячейки... Члены цехового профсоюзного комитета просят заводской комитет рассмотреть на очередном заседании поведение фрезеровщика Виктора Пискунова. В течение последнего месяца Пискунов регулярно нарушал производственную дисциплину,

являясь на работу в нетрезвом виде и не выполняя производственных норм. Шестнадцатого июля Пискунов нанес в пьяном состоянии сильное повреждение своему станку, тем самым на целый день задержал работу всей бригады. Снятие с Пискунова прогрессивки никак не повлияло на него – он по-прежнему продолжает нарушать дисциплину, грубит цеховому начальству и товарищам.

Симакова отложила листок в сторону:

– Да, Пискунов. Год ты на заводе не проработал, а все тебя уж знают. И не как ударника, а как тунеядца и алкоголика.

– Я что – алкоголик? – Пискунов поднял голову.

– А кто же ты? – спросил Клоков. – Самый натуральный алкоголик.

– Алкоголиков в больнице лечат, а я работаю. Я не алкоголик.

– Конечно! Конечно, он не алкоголик! – притворно серьезно заговорила Звягинцева. – Какой он алкоголик?! Он утром стакан, в обед стакан и вечером полбанки! Какой же он алкоголик?

Сидящие за столом засмеялись.

Уборщица отжала тряпку, намотала ее на щетку и стала протирать проход между креслами.

Симакова вздохнула:

– Ты понимаешь, Пискунов, что работать в пьяном виде не только опасно для тебя, для твоего станка, но и для окружающих? Понимаешь?

– Понимаю.

– Ну так что ж? Понимаешь, а пить продолжаешь?

– Да не пью я... Было один раз, так раздули, – он качнулся, потряхнул головой, – раздули, будто я каждый день, а я на самом деле один раз у шурина, на дне рождения...

– Да что ж ты врешь, бесстыжие твои глаза?! – крикнула Звягинцева. – Как не стыдно врать тебе! Ты каждый день на бровях, каааждый! Вот, – она кивнула на Клокова, – профорг твой сидит, его бы постыдился!

Витька посмотрел на Клокова и только сейчас заметил сидящего возле него Сережу Черногаева, расточника из соседней бригады. Серега смотрел на Витьку пугливо и настороженно.

– Один раз, – подхватил Клоков, – он, может, трезвым один раз за это время был! Я с ним каждое утро в раздевалке встречаюсь, в глаза погляжу – снова пьяный. А глаза, как у кролика, красные.

– Чего это красные? Какие это у меня красные?

– Такие и красные. А морда белая, как молоко. И шатает из стороны в сторону.

– Да когда меня шатало-то? Чего вы врете-то?

– Ты, друг мой, не дерзи мне! – Клоков шлепнул рукой по столу. – Я тебе не собутыльник твой! Не Васька Сенин! Не Петька Круглов! Это с ними ты так разговаривай! И встань-ка как следует! Чего привалился к трибуне! Это тебе не стойка пивная!

– Встань нормально, Пискунов, – строго проговорила Симакова.

Витька нехотя оттолкнулся от трибуны и выпрямился, прищурясь. Уборщица кончила протирать пол и, опершись о щетку, с интересом уставилась на сцену.

Звягинцева брезгливо посмотрела на Пискунова, покачала головой:

– Дааа... Противно смотреть на тебя, Пискунов. Жалкий ты человек.

– Это почему ж я жалкий?

– Любой алкоголик жалок, – вставил Старухин. – А ты не исключение. Ты бы посмотрел на себя в зеркало. Ты же опух весь. Лицо лиловое какое-то, черт знает что... Смотреть неприятно.

Дверь скрипнула, в зал вошел высокий милиционер с виолончельным футляром в руке. Сидящие посмотрели на него. Потоптавшись на месте, милиционер медленно прошел по про-

ходу и сел с краю четвертого ряда. Черный футляр он прислонил к соседнему креслу, снял фуражку с лысоватой головы и повесил на футляр.

– Сейчас он присмирел еще, – пробормотал Клоков, покосившись на милиционера. – А что он в цехе творит, в раздевалке.

– Вы что, видели?

– Тебе сказали, не пререкайся! – качнулась вперед Симакова. – Ты лучше расскажи, как ты Барышникова избил. Или, может, это опять Клоков придумал?

Пискунов тоскливо вздохнул, заложил руки за спину. Милиционер, прищурившись, смотрел на него. Уборщица оставила ведро со щеткой в проходе и села недалеко от милиционера.

– Чего молчишь? Рассказывай.

– Да чего рассказывать... Сам он первый полез. Ругался, грозил... А я усталый был, не в духе.

– И пьяный к тому же, да?

– Ну, может немного... Пива утром выпил.

– И к вечеру не выветрилось? – спросил Клоков. – Хорошее пиво!

Члены завкома засмеялись.

Уборщица покачала головой, поправила сползший на глаза платок. Милиционер, по-прежнему сощурившись, смотрел на сцену. Симакова взяла карандаш, перебирая его, спросила:

– Значит, свое плохое настроение ты выместил на товарище?

– Так он первый полез. Обзывался.

– Не ври, Пискунов, – перебил его Клоков. – Не он к тебе полез, а ты, ты напился в раздевалке с Петькой Кругловым и стал приставать ко всем. А Барышников тебя одернул. А ты его избил. Вот – свидетель сидит, – он качнул головой в сторону Черногаева.

Все посмотрели на свидетеля. Черногаев покраснел. Витька взглянул на красное лицо Сергея и отвернулся.

– Молчишь? То-то. Правда глаза колет. Скажи спасибо Барышникову, что не заявил на тебя. А он имел право. За тот синячище пятнадцать суток дали бы тебе, не меньше.

– А действительно, почему он не пошел в милицию? – спросил Урган.

– Да вот парень хороший оказался. Замял, как будто и не было ничего.

– Повезло тебе, Пискунов.

– Таким, как он, всегда везет.

– Точно, точно. Везет! – Уборщица поднялась со своего места. – Я извиняюсь, конечно, да только вот ведь, – она развела руки в стороны, – сосед у меня точно такой, точно! И как их, паразитов, земля носит!

Она выбралась из кресел, подбежала к сцене и стала загибать узловатые пальцы:

– Не работает нигде! Пьет каждый день! Девок к себе таскает, хулиганит, дерется – и хоть бы что! И вот ведь не выселит его никто! Я уж в милицию, и туда, и сюда – нет! Как пил, так и пьет!

Члены завкома сочувственно покачали головами. Уборщица вздохнула и села в первом ряду. Симакова посмотрела на Пискунова:

– Тебя ведь третий раз на завком таскают, Пискунов. Неужели совесть совсем потерял? Ты ведь коллектив подводишь, завод позоришь. О себе не думаешь – о других подумай. Бригада из-за тебя план не выполняет, значит, всем – ни прогрессивки, ни премии. Ты это понимаешь? Или тебе все равно? Чего молчишь?! Все равно, да?!

– А для него, Оксана Павловна, что в лоб, что по лбу, – вздохнула Звягинцева. – Он выпил – хорошо! Подрался – еще лучше! На работу не пришел – совсем прекрасно! А до бригады ему и дела нет.

– Ты знаешь, Пискунов, во сколько поломка твоего станка обошлась государству? Не знаешь? – спросил Клоков.

Витька покачал головой.

Клоков приподнялся, опираясь руками о стол:

– Была б моя воля, я б вычел бы все с тебя! Вот тогда б ты узнал! Узнал. А то сломал станок – и хоть бы что, сидит курит в проходе! Ты что, Витя, делаешь? Я покуриваю! А станок чинят. Хоть бы помог наладчикам! Нет, наплевать! И вообще ему наплевать на работу, на цех, на товарищей. Вот Черногаев, рабочий, в одном цехе с ним, вот ты хоть расскажи нам, как о Пискунове товарищи отзываются! Расскажи! А мы послушаем.

Черногаев неуверенно встал, качнулся. Все смотрели на него.

– Ну я... я, в общем... – Он провел рукой по лбу.

– Да ты смелее, Сереж, расскажи все как есть, – подбодрил его Клоков.

– Ну, я, товарищи, работаю в одном цехе с Пискуновым, вижу, значит, его каждый день. Мы с ним в разных бригадах работаем, но вижу я его каждый день. И в раздевалке, и в столовой. Вот. Ну и, в общем, здесь уже говорили. Пьет он. Выпивает регулярно. И утром приходит пьяный, и вечером пьяный. Вот, значит. И станок его я вижу. Грязный он, неубранный. После работы иду – а на его станке стружка. И щетка на полу валяется. И почти каждый день так. И вообще он ведет себя нехорошо, грубит. Вот Барышникова избил...

– Как это случилось? – спросила Симакова.

– Ну, Пискунов с Петькой Кругловым раньше всех в раздевалку пошли, значит. Еще шести не было, а они подались. А когда остальные стали приходить и я пришел – они уже пьяные сидят, матерятся, курят. А с Федей они еще раньше столкнулись. Федя Пискунова ругал за то, что план всей бригаде сорвал. А тут Пискунов как Федю увидел, так сразу задираться стал, значит. Эй, говорит, ударник-стахановец, иди сюда, я тебе рожу профрезерую.

– Чего ты врешь, Черногай, я такого...

– Замолчи, Пискунов! Продолжай, Черногаев.

– Ну вот. А Федя ему говорит – вежи, говорит, себя прилично. А Пискунов выражаться. А Федя, значит, говорит ему, что будет, вот, собрание, я, говорит, скажу о тебе, и мы, говорит, в завком на тебя напишем. Ну, тут Пискунов на него бросился. Разняли их. У Феде лицо разбито. Ребята в медпункт пошли с ним. А Пискунов еще долго в раздевалке сидел. Выражался. О заводе нехорошо говорил...

– Эт что я нехорошего-то говорил?

– Не перебивай, Пискунов! Тебя не спрашивают.

– А чего он врет-то?

– Я не вру. Он говорил, что все у нас плохо, платят мало. Купить, говорил, нечего, пойти некуда.

– Еще бы! Он ведь, кроме винного магазина, никуда не ходит! А кроме пол-литры, ничего не покупает.

– Эт почему ж я не хожу-то?

– Потому! Потому что алкоголик ты! Аморальный человек! – тряхнула головой Звягинцева.

Черногаев продолжал:

– А еще он говорил, что вот на заводе все плохо, купить нечего, еда плохая. Поэтому, говорит, и работать не хочется.

Все молчаливо уставились на Пискунова.

– Да как же... да как же у тебя язык повернулся сказать такое?! – Уборщица встала со своего места, подошла к сцене. – Да как тебе не совестно-то?! Да как же ты, как ты посмел-то! А?! Ты... ты... – Ее руки прижались к груди. – Да кто ж тебя вырастил?! Кто воспитал, кто

обучал бесплатно?! Да мы в войну хлеб с опилками ели, ночами работали, чтоб ты вот в этой рубашке ходил, ел сладко да забот не знал! Как же ты так?! А?!

– Плюешь, Пискунов, в тот же колодец, из которого сам пьешь! – вставил Хохлов.

– И другие пьют, – добавила Симакова. – На всех плюешь. На бригаду, на завод, на Родину. Смотри, Пискунов, – она постучала пальцем по столу, – проплюешься!

– Проплюешься!

– Ишь, плохо ему! Работать надо, вот и будет хорошо! А лентяю и пьянице везде плохо.

– А таким людям везде плохо. Такого в коммунизм впусти – ему и там не по душе придется.

– Да. Гнилой ты человек, Пискунов.

– Ты комсомолец?

– Нет. – Витка тоскливо смотрел на портрет.

– И вступать не думаешь?

– Да поздно. Двадцать пять...

– Таким в комсомоле делать нечего.

– Точно! Таким вообще не место среди рабочего класса.

– Третий раз вызывают его на завком, и все как с гуся вода! Вырастили смену себе, нечего сказать! А все мягкотелость наша. Воспитываем все!

– Действительно, Оксана Павловна. – Звягинцева повернулась к Симаковой. – Что же это такое?! Мы ж не шарашкина контора, а завком! Значит, опять послушает он нас, послушает, выйдет, сплюнет в уголок, а завтра снова в одиннадцать – за бутылкой? Мы же завком! Заводской комитет профсоюза, товарищи! Профсоюзы – это кузница коммунизма! Это ведь Ленин сказал! Так почему же мы так мягки с ними, с ними вот?!

– И правда! Пора наконец перестать лояльничать с ними! – вставил Старухин. – В конце концов у нас производство, советское производство! И мы несем ответственность за эффективность нашего завода перед Родиной! Сняли с него прогрессивку – мало! Сняли тринадцатую зарплату – мало! Увольнять нельзя – значит, надо искать какие-то новые меры! И не гуманничать! А то догуманничаемся!

– Правильно, Оксана Павловна, с такими, как Пискунов, надо бороться. Бороться решительно! Что с ними цацкаться?!

– Ему ведь наши нотации – как мертвому припарки.

– Ну а что мы можем, кроме снятия премий и прогрессивки? Выгнать-то нельзя...

– Тогда вообще зачем заседать?! Это ж издевательство над профсоюзом.

– Форменное издевательство...

– И пример дурной подаем. Сегодня он пьет, а завтра, гляди, и вся бригада.

– Ну а действительно, что мы можем?!

Милиционер вздохнул, встал и одернул китель:

– Товарищи!

Все повернулись к нему. Он подождал мгновение и заговорил:

– Я, конечно, человек посторонний, так сказать. И к этому делу отношения никакого не имею. Но я как советский человек и как работник милиции хочу, так сказать, поделиться просто опытом. Я, товарищи, с такими, как этот парень, почти девятнадцать лет работаю. С двадцатилетнего возраста с ними сталкивался. Эти люди – тунеядцы, алкоголики, хулиганы и более крупные, так сказать, матерые преступники надеются только на одно: чтобы мы с ними мягко, так сказать, обходились. Как только мы с ними мягче и обходительней – так они сразу хуже. Сразу чувствуют! И выводы делают, и становятся опаснее для общества. Я здесь сидел, слушал, ну и в общем мне все понятно. Я вас, товарищи, хорошо понимаю. И, по-моему, не надо вам бояться новых мер. Вы ведь, в конце концов, не за себя отвечаете, а за предприятие.

И думаете о нем. И болеете за него. А завод ваш не зря орденом награжден. Не зря! Надо помнить об этом.

Он сел, сцепил руки.

– Правильно! – проговорил Урган. – Вот товарищ хоть и не работает на нашем заводе, а целиком прав. Поощряя таких, как Пискунов, мы вредим своему заводу! Сами себе же вредим! Значит, что же, выходит, мы с вами сами виноваты?!

– Конечно виноваты! – подхватила Звягинцева. – Еще как виноваты! Из-за нашей близорукости и завод страдает!

Уборщица снова приподнялась со своего места:

– Да кабы моя воля, я б с этими вот, такими, как он, прямо не знаю, что б сделала! Ведь житья от них нет никакого! Ведь во дворе вот с утра день-деньской до вечера бренчат, пьют, дерутся!

– Но опять же, что мы можем поделать? Мы же обыкновенный завком, полномочия у нас крайне ограниченные.

Милиционер вздохнул:

– Товарищи, вы меня не поняли. Я же сказал, вам не надо бояться новых, более эффективных мер. Вы же не о себе думать должны, правильно?

– Да, правильно, конечно, – отозвалась Симакова, – но факт остается фактом, у нас, товарищ милиционер, действительно нет полномочий...

– Товарищи! – Милиционер шлепнул руками по коленям. – Мне прямо горько слушать вас! Нет полномочий! Да кто же виноват в этом?! Вы сами и виноваты! Все от вас, от вашей инициативы зависит! Если б были у вас конкретные предложения, были б и полномочия. Законы что, по-вашему, с неба валяются? Нет! Народ их создает! Все от вас зависит, от народа. А то сами перед собой барьер поставили и ждете, чтоб вам полномочия дали. Это просто несерьезно. Вы так ничего не дождетесь. А вот эти, – он ткнул пальцем в Пискунова, – действительно вам проходу не дадут! И тогда и полномочия не помогут. А сейчас, когда еще не поздно, – предлагайте! Пробуйте! Чего вы боитесь? Вы что думаете, с такими, как этот парень, уговорами да беседами бороться? Напрасно. Их не уговаривать нужно. С ними совсем по-другому нужно. А как – это уж ваше дело. И инициатива должна от вас идти. Есть инициатива, есть предложения – значит, будут и полномочия. А если нет инициативы, нет деловых, так сказать, предложений – значит, и полномочий не будет.

Он сел, достал платок и вытер вспотевший лоб.

Минуту все молчали. Потом Клоков вздохнул, вобрал голову в плечи:

– Вообще-то у меня, то есть у нас... ну, в общем, есть одно предложение. Насчет Пискунова. Правда... я не знаю, как оно... ну... как... В общем, поймут ли меня, то есть нас, правильно...

– А вы не бойтесь, – ободрил его милиционер, пряча платок. – Если оно деловое, конкретное, так сказать, значит, поймут. И одобряют.

Клоков посмотрел на Звягинцеву. Она ответила понимающим взглядом.

– Ну, в общем, мы предлагаем... – Клоков рассматривал свои руки. – В общем, мы...

Все выжидающе смотрели на него. Он облизал губы, поднял голову и выдохнул:

– Ну, в общем, есть предложение расстрелять Пискунова.

В зале повисла тишина. Милиционер усердно почесал висок и усмехнулся:

– Нууу... товарищи... что вы глупости говорите. При чем тут расстрелять...

Собравшиеся неуверенно переглянулись. Милиционер засмеялся громче, встал, поднял футляр и, посмеиваясь, пошел к выходу.

Все провожали его внимательными взглядами. Возле самой двери он остановился, повернулся и, сдвинув фуражку на затылок, быстро заговорил:

– Я тебе, Пискунов, посоветовал бы побольше классической хорошей музыки слушать. Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Прокофьева, опять же. Музыка знаешь как человека облагораживает? А главное, делает его чище и сознательней. Ты вот, кроме выпивки да танцев, ничего не знаешь, поэтому и работать не хочется. А ты сходи в консерваторию хоть разок, орган послушай. Сразу поймешь многое... – Он помолчал немного, потом вздохнул и продолжал: – А вы, товарищи, вместо того чтоб время вот таким образом терять и заседать впустую, лучше б организовали при заводе клуб любителей классической музыки. Тогда б и молодежь при деле была, и прогулов да пьянства убавилось... Я б распространился еще, да на репетицию опаздываю, так что извините...

Он вышел за дверь.

Уборщица вздохнула и, подняв ведро, двинулась за ним. Но не успела она коснуться приотворившейся двери, как дверь распахнулась и милиционер ворвался в зал с диким, нечеловеческим ревом. Прижимая футляр к груди, он сбил уборщицу с ног и на полусогнутых ногах побежал к сцене, откинув назад голову. Добежав до первого ряда кресел, он резко остановился, бросил футляр на пол и замер на месте, ревя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела.

– Про... про... прорубоно... прорубоно... – ревел он, трясая головой и широко открывая рот.

Звягинцева медленно поднялась со стула, руки ее затряслись, пальцы с ярко накрашенными ногтями согнулись. Она вцепилась ногтями себе в лицо и потянула руки вниз, разрывая лицо до крови.

– Прорубоно... прорубоно... – захрипела она низким грудным голосом.

Старухин резко встал со стула, оперся руками о стол и со всего маха ударился лицом о стол.

– Прорубоно... про... прорубоно... – произнес он, ворочаясь на столе.

Урган покачал головой и забормотал быстро-быстро, едва успевая проговаривать слова:

– Ну, если говорить там о технологии прорубоно, о последовательности сборочных операций, о взаимозаменяемости деталей и почему же как прорубоно, так и брака межреспубликанских сразу больше и заметней, так и прорубоно местного масштаба у нас не обеспечивается фондами и сырьем по-разному по-сварочному, а наличными не выдают и агитируют за самофинансирование...

Клоков дернулся, выпрыгнул из-за стола и повалился на сцену. Перевернувшись на живот, он заерзал, дополз до края сцены и свалился в партер зала. В партере он заворочался и запел что-то тихое. Хохлов громко заплакал. Симакова вывела его из-за стола. Хохлов наклонился, спрятав лицо в ладони. Симакова крепко обхватила его сзади за плечи. Ее вырвало на затылок Хохлова. Отплевавшись и откашлявшись, она закричала сильным пронзительным голосом:

– Прорубоно! Прорубоно! Прорубоно!

Пискунов и Черногаев прыгнули со сцены и, имитируя странные движения друг друга, засеменили к входной двери. Приблизившись к неподвижно лежащей уборщице, они взяли ее за ноги и поволокли по проходу к сцене.

– Прорубоно! Прорубоно! – хрипло ревел милиционер. Он изогнулся назад еще сильнее, красное лицо его уставилось в потолок зала, тело дрожало.

Пискунов с Черногаевым подволокли уборщицу к ступенькам и затащили на сцену. Звягинцева отняла руки от своего окровавленного лица, сильно наклонилась вперед и подошла к лежащей на полу уборщице. Урган тоже подошел к уборщице, бормоча:

– Если говорить о технологии прорубоно, граждане десятники, они никогда не ставили высоковольтных опор и добавляли битумные окислители, когда процесс шлифования необхо-

дим для наших ответственных дел и решений, и странное чередование узлов сальника и механопривода...

Черногаев и Пискунов, Звягинцева и Урган подняли уборщицу с пола и перенесли на стол.

Старухин приподнял свое разбитое посиневшее лицо.

– Прорубоно, – четко произнес он распухшими губами. Симакова отпустила Хохлова и, не переставая пронзительно выкрикивать, подошла к столу.

Хохлов опустился на колени, коснулся лбом пола и стал подгребать руками к лицу разлившиеся по полу рвотные массы. Черногаев, Пискунов, Звягинцева, Урган, Старухин и Симакова окружили лежащую на столе уборщицу и принялись сдирать с нее одежду. Уборщица очнулась и тихо забормотала:

– Та и прорубоно... так-то и прорубоно...

– Прорубоно! Прорубоно! – кричала Симакова.

– Прорубоно... – хрипела Звягинцева.

– Но прорубоно по технически проверенным и экономически обоснованным правилам намазывания валов... – бормотал Урган.

– Прорубоно! – ревел милиционер.

Вскоре вся одежда была содрана с тела уборщицы.

– Ота... ота-та... – бормотала она, лежа на столе.

– Пробо! Пробо! Пробо! – закричала Симакова.

Уборщицу перевернули спиной вверх и прижали к столу.

– Пробо... ота-то... – захрипела уборщица.

– Пробойно! Пробойно! – заревел милиционер.

Пискунов и Черногаев, приседая и делая кистями рук быстрые вращательные движения, прыгнули со сцены, подняли лежащий у ног милиционера футляр, поднесли и положили его на край сцены.

– Пробойное! Пробойное! – ревел милиционер.

Пискунов и Черногаев открыли футляр. Внутри он был разделен пополам деревянной перегородкой. В одной половине лежала кувалда и несколько коротких металлических труб, другая половина была доверху заполнена червями, шевелящимися в коричневатозеленой слизи. Из-под массы червей выглядывали останки полусгнившей плоти.

Черногаев взял кувалду, Пискунов забрал трубы. Труб было пять.

– Прободело! Прободело! – заревел милиционер и затрясся сильнее.

– Патрубки, патрубки пробойные общечеловеческие ГОСТ 652/58 по неучтенному, – забормотал Урган, вместе со всеми прижимая тело уборщицы к столу. – Длина четыреста двадцать миллиметров, диаметр сорок два миллиметра, толщина стенок три миллиметра, фаска 35.

Пискунов поднес трубы к столу и свалил их на пол.

– Прободело... так-то и проб... – бормотала уборщица.

Пискунов взял одну трубу и приставил ее заостренным концом к спине уборщицы.

– Убойно! Убойно! – заревел милиционер.

– Убойно! Убойно! – подхватила Симакова.

– Убойно... убойно... – повторял Старухин.

– Убойно... – хрипела Звягинцева.

Пискунов держал трубу, схватив ее двумя руками. Черногаев стал бить кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял вторую трубу и приставил к спине уборщицы. Черногаев ударил по торцу трубы кувалдой. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял третью трубу и приставил к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы

и ударила в стол. Пискунов взял четвертую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял пятую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол.

– Вытягоно... вытягоно... – забормотал Хохлов в кучку сгребенных им рвотных масс.

– Вытягоно! Вытягоно! – закричала Симакова и схватилась обеими руками за торчащую из спины уборщицы трубу. Старухин стал помогать Симаковой, и вдвоем они вытянули трубу.

– Вытягоно! Вытягоно! – ревел милиционер.

Старухин и Симакова вытянули вторую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули третью трубу и бросили на пол. Пискунов и Черногаев вытянули четвертую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули пятую трубу и бросили на пол. Из-под тела уборщицы обильно потекла кровь.

– Сливо! Сливо! – закричала Симакова.

Быстро стекая по красному сукну, кровь разливалась на полу тремя большими лужами.

Хохлов пополз на коленях к раскрытому футляру.

– Нашпиго! Набиво! – заревел милиционер.

– Напихо червие! Напихо червие! – закричала Симакова, и все, кроме милиционера и лежащего в партере Клокова, двинулись к футляру.

– Напихо червие, – повторял Старухин, – напихо...

– Напихо в соответствии с технологическими картами произведенное на государственной основе и сделано малое после экономического расчета по третьему кварталу, – бормотал Урган.

Каждый из подошедших зачерпнул пригоршню червей из футляра и понес к столу. Подойдя к трупку уборщицы, они стали закладывать червей в отверстия в ее спине. Как только они закончили, милиционер перестал выгибаться и реветь, достал из кармана платок и стал тщательно вытирать мокрое от пота лицо.

Клоков поднялся с пола и принялся отряхивать свой костюм. Пискунов и Черногаев собрали разбросанные по полу трубы и кувалду, сложили в свободное отделение футляра, закрыли его и стали застегивать.

– Ну чаво ш вы тама возитесь? – недовольно спросил Клоков. – То-то попотворилесь абы как...

Черногаев и Пискунов застегнули футляр, подняли и спустились в зал. Все, кроме Хохлова, спустились вслед за ними. Хохлов скрылся за кулисами.

– Ну, чаво, чаво топчитесь? – окликнул Клоков Черногаева и Пискунова. – Швыряйте, швыряйте!

– Попрошу вас не кричать, – произнес Черногаев, глядя в глаза Клокову. – Извольте вести себя подобающе.

Клоков раздраженно махнул рукой и отвернулся. Черногаев и Пискунов раскатали футляр и бросили его в середину зала, где он с шумом исчез между креслами.

Из-за кулис, согнувшись, вышел Хохлов. На спине его лежал большой куб, изготовленный из полупрозрачного желеобразного материала. От каждого шага Хохлова куб колебался. Хохлов пересек сцену, осторожно спустился по ступенькам в зал и направился к выходу.

– Стоять! – произнес милиционер.

Хохлов остановился. Милиционер подошел к нему и сказал что-то шепотом.

Звягинцева раскрыла свою коричневую сумочку и достала из нее пистолет. Милиционер что-то шепнул Хохлову. Тот кивнул головой, отчего куб мелко затрясся.

Звягинцева вложила дуло пистолета себе в рот и нажала спуск. Глухой выстрел вырвал затылочную часть ее головы, забрызгав кровью и мозговым веществом Старухина и Ургана. Звягинцева упала навзничь.

Милиционер опять что-то шепнул Хохлову. Хохлов вздохнул и произнес:

– Хочу сделать заявление господам потерпевшим. Дело в том... дело в том, что я... – Он замялся, куб на его спине задрожал.

– Пошел, пошел! – прикрикнул на него милиционер.

Хохлов подошел к двери, толкнул ее головой и вышел. Милиционер вышел следом. Клоков подбежал к двери и скрылся за ней.

– Беги, беги, козел, – презрительно произнес Черногаев.

– Ну что, пошли? – Симакова достала сигареты и закурила.

– Пошли, – кивнул Черногаев, и все двинулись к выходу.

Прощание

Легкий прозрачный туман на востоке внезапно порозовел, прорезался желтой искрой, и через несколько быстро пролетевших минут край солнечного шара показался над кромкой леса.

Константин встал со своего широкого трухлявого пня, низ которого так загадочно светился ночью, и, запахнув пальто, пошел к обрыву.

Птицы, до этого коротко перекликавшиеся, запели громко, словно приветствуя солнечный восход.

Константин подошел к поросшему осокой и кукушкиным льном обрыву, встал на самом краю. Широкая лента реки, обрамленная темно-зеленой массой камыша, лежала внизу. Гладь ее была спокойна – ни ряби, ни признаков движения. Только в зеленоватой глубине еле заметно колебались водоросли, походившие на загадочных существ.

Константин достал портсигар, открыл.

Папироса по-утреннему сухо треснула в его холодных пальцах.

Он закурил. Дым папиросы показался мягким и некрепким.

Глядя на выбирающееся из леса солнце, Константин улыбнулся, устало потер щеку.

“Все-таки как это невероятно тяжело – уехать из родного места, – с грустью подумал он, – из места, где ты вырос, где каждая тропинка, каждое дерево тебе знакомы... А я-то вчера бахвалился перед Зинаидой и Сергеем Ильичем. Уеду, мол, махну рукой. Дальняя дорога, новые города, новые люди. Чудак...”

Он стряхнул пепел, и крохотный серый цилиндрик полетел вниз, пропал в камышах.

Середина реки всколыхнулась.

Плеснула крупная рыба – раз, другой, третий.

Три расширяющихся круга пересеклись и побежали к берегам.

“Щука, наверно. Ишь, как кувыркнулась, даже хвост сверкнул. Наверно, килограмма четыре будет. Они тут меньше не попадаются...”

Он жадно затянулся, вспомнив, как в десятилетнем возрасте вытащил свою первую щуку. Это было таким же летним безоблачным утром. На реке никого не было, за долгое время ожидания не клюнула ни одна рыба. Он хотел было уже по совету старого рыбака деда Михея насадить на крючок кусочек тесьмы, на которой висел его медный нательный крестик, но вдруг поплавок исчез, леска со звоном чиркнула по воде, удилице выгнулось дугой. И началась борьба белобрысого вихрастого паренька с невидимой рыбой. И он вытащил ее – мокрый, дрожащий от волнения, – вытащил и бросил на песок, тогда еще не поросший камышом...

Он снова затянулся и медленно выпустил дым через ноздри.

“Да. Как все знакомо. Господи, ведь тридцать семь лет я прожил здесь. Мальчишкой я купался в ней и ловил рыбу, свесив босые ноги с того неприметного мостка. Юношей я любил сидеть здесь, читая книги о дальних странах, бесстрашных путешественниках, о любви. А потом полюбил и сам. Полюбил сильно, безумно, бесповоротно. И здесь, в этой березовой роще, впервые целовал свою любимую. Целовал в мягкие, взволнованные девичьи губы...”

Выбравшееся из леса солнце рассеяло остатки тумана и ярко сияло, слепя глаза. Ласточки кружились над рекой, стремительно касаясь воды и вновь взмывая.

С Таней они встречались вон там, возле трех сросшихся берез. Встречались по вечерам, когда солнце заходило, оставляя над лесом алую полосу, а из деревни слышалась гармошка. Таня. Милая Таня с русой туго заплетенной косой...

Как любил он ее – стройную, в легком ситцевом платице, с загорелыми тонкими руками, от которых пахло сеном и луговыми цветами.

Он целовал ее, прижимая к гладким молодым березам, стволы которых и вечером были теплыми.

Сначала она слабо отстранялась, а потом обнимала его и целовала – неумело, нежно и смешно.

– Ты похож на сокола, – часто говорила она, улыбаясь и глядя его по щеке.

– На сокола? – усмехался Константин. – Значит, я пернатый!

– Не смейся, – перебивала его она, – не смейся...

И добавляла быстрым горячим шепотом:

– Я... я ведь люблю тебя, Костя.

Все это было. Было здесь...

Константин бросил вниз недокуренную папиросу, взялся руками за отвороты пальто и вздохнул полной грудью.

Прохладный утренний воздух пах рекой, дымком и пьянил необычайно.

“Так что же такое – родина? – подумал Константин, глядя на пробуждающийся, залитый солнцем лес, голубое небо и реку. – Что мы подразумеваем под этим коротким словом? Страну? Народ? Государство? А может быть – босоное детство с ореховой удочкой и банкой с карасями? Или вот эти березы? Или ту самую девушку с русской косой?”

Он снова вздохнул. Пронизанный светом воздух быстро теплел, ласточки кричали над прозрачной водой.

Стояло яркое летнее утро.

Да, да. Яркое летнее утро.

Стояло, стоит и будет стоять.

И никуда не денется.

Ну и хуй с ним.

Длинный.

Толстый.

Жилисто-дрожащий.

С бледным кольцом смегмы под бордовым венчиком головки.

С фиолетовыми извивами толстой вены.

С багровым шанкром.

С пряным запахом.

Первый субботник

– Ну вот, – Саламатин подошел к рассеявшейся на плитах бригаде, – нам, ребят, листья сгребать.

Рабочие зашевелились, поднимаясь:

– Во, это по мне...

– Нормально, Егорыч.

– Небось Зинку ублажил, вот и работу полегче дала...

– А где сгребать будем?

Саламатин достал из широких брюк пачку “Беломора”:

– От проходной и выше.

– Так там много. С полкилометра.

– А ты как думал... Давайте, мужики, в девятый за граблями. Там и грабли и рукавицы.

Или кто-нибудь пусть сходит, что всем переться.

– Мы с Серегой сходим. – Ткаченко хлопнул Зигунова по ватному плечу. – Сходим, Серег?

– Сходим, конечно... дай закурить, Егорыч. – Зигунов потянулся к пачке.

Саламатин вытряхнул ему папиросу, сунул в губы свою, смял:

– Значит, сходите. Не обсчитайтесь только. Четырнадцать грабель. И рукавиц четырнадцать пар. А вот и новичок бежит... Пятнадцать грабель и пятнадцать пар.

Мишка перелез через штабель труб, побежал по плитам.

– Ты чего опаздываешь? – улыбнулся Саламатин, закуривая. – Идите, ребята, идите...

Мишка подбежал к нему, громко выдохнул:

– Фууу... запыхался... доброе утро... Вадим Егорыч...

– Доброе утро. Что, будильник подвел?

– Да нет, поезд пропустил свой... фууу... сильно опоздал?

– Нет. Ничего.

– Доброе утро! – Мишка повернулся к рабочим.

– Здорово.

– Доброе утро...

– Чего опаздываешь?

– Перезанимался вчера небось, заочник?

– Егорыч, ну мы пошли, чего тут толкаться...

– Идите. Я догоню шас... – махнул рукой Саламатин. – Застегни куртку, не лето все-таки.

Часто дышащий Мишка стал застегивать молнию.

Саламатин отодвинул рукав ватника, посмотрел на часы:

– Четверть девятого. Все не начнем никак.

– А что делать будем?

– Листья сгребать. С газонов у проходной.

– На свежем воздухе... хорошо...

– Конечно... так... Прохорова нет... ну ладно. Ждать больше не будем... пошли, Миш.

Они зашагали к проходной, вслед за бригадой.

Саламатин зевнул, выпустил дым:

– А ты что так оделся чисто? Прямо как на парад.

Мишка пожал плечами:

– Ну а что. Ничего особенного.

– Но куртку-то зачем пачкать? Хорошая куртка.

– Обыкновенная.

Бригадир засмеялся, обнажив крупные прокуренные зубы:

– Да... вот что значит – новое поколение. Я б такую куртку на выходной берег...

Подошли к проходной.

Одетый в черную форму вахтер запирает ворота.

– Семеныч, выпусти нас! – весело крикнул Саламатин.

– Идите через вертушку. Я уж запираю за вами устал. Щас только твои проползли.

– Егорыч! – раздалось сзади. – Помоги!

Мишка и бригадир обернулись.

Ткаченко с Зигуновым несли грабли и рукавицы.

– А вы что, пупы надорвали? – шагнул к ним бригадир.

Мишка подошел к Зигунову, тот сунул ему стопку рукавиц.

Саламатин протянул руку к граблям, распустившимся веером на плече Ткаченко, но тот уклонился:

– Да шучу, Егорыч. Чего тут нести.

– Все хорошие? Ломаных нет?

– Нет, нет...

– Ну, иди вперед.

Бригадир пропустил Ткаченко.

По очереди прошли через поскрипывающую вертушку.

На улице ждала бригада.

– Во, Сашок самые новенькие выбрал...

– Семейный, сразу сообразил.

Ткаченко снял грабли с плеч:

– Разбирайте...

Мишка стал раздавать рукавицы.

Творогов постучал граблями по асфальту:

– Нормально... Такими и целину пахать можно...

– Откуда начинать, Егорыч?

Саламатин огляделся, махнул рукой на левый газон:

– Вот наш.

– А правый?

– А тут насосники будут убирать.

– Ясно...

Усеянный опавшей листвой газон тянулся вдоль каменной заводской ограды вместе с неровным рядом невысоких тополей. Их длинные, потерявшие почти всю листву ветки слегка шевелились. Разобрав грабли и надев рукавицы, рабочие двинулись к газону. Саламатин разорвал нитку, скрепляющую новенькую пару рукавиц. Мишка постучал древком грабель по асфальту, насаживая их потуже:

– Гвоздика нет.

– Что? Какого? – повернулся к нему бригадир.

– Да тут вот... крепить где грабли...

– Ну и ничего страшного... дай-ка. – Бригадир взял у него грабли, потрогал. – Насажены нормально. И без гвоздя сидят крепко. Грабь только полегче, и не отвалятся... пошли...

Они двинулись за бригадой.

Мишка улыбнулся, положил грабли на плечо:

– Да... первый субботник...

– Как – первый?

– Да так. Первый субботник мой.

– Seriously? – удивленно посмотрел на него Саламатин.

– Ага. Ну, не первый, конечно... в школе были субботники...

– Ну, так это другое дело. В школе ты учеником был, а тут – пролетарий. Значит, действительно – первый! Здорово!

Саламатин засмеялся, крикнул шагающим впереди рабочим:

– Слышь, ребят! У Мишки сегодня первый субботник! Каково?

– Поздравляем.

– Бутылка с тебя, Миш!

– Нормально...

– Ты тогда сегодня должен по-ударному работать, за всех.

– Чудеса... первый субботник у человека. Я и забыл, когда у меня был...

Саламатин положил руку Мишке на плечо:

– Да... вообще-то это событие. Надо было б как-нибудь через профком поздравить тебя...

– Да что вы, Вадим Егорыч...

– Надо было. Что ж ты раньше не сказал? Так, мол, и так... первый субботник... Эй, ребят! – крикнул он рабочим. – Начинайте отсюда! Прямо в кучи сгребайте к кромке, и порядок...

Рабочие разошлись по газону, стали сгребать листья.

Саламатин сощурился на заходящее солнце, поправил выбившийся из-под ватника шарф:

– А я вот помню свой первый субботник...

– Правда?

– Помню. Только война началась. Как раз сорок первый год. Июль. А я в апреле на завод устроился. Тоже такой же был, как ты. Только помоложе. И заочно, конечно, не учился. Не до учебы было. И вот субботник решили провести. В фонд помощи фронту. Вышли всем заводом после смены. А смена-то была – двенадцать часов! Не то что сейчас. И работали по-другому совсем. С сознанием. Все понимали. Самоотверженно работали, вот... и как работали... разве сравнишь с теперешними работниками...

Он вздохнул и побрел к бригаде.

Мишка зашел следом.

Бригадир встал рядом с Зигуновым, нагнулся и поднял ржавую консервную банку:

– Вот. Это вот свинство наше. Выпили, закусили и бросили. Так вот и живем... а потом удивляемся, мол, пойти отдохнуть некуда, вся природа загажена...

Он кинул банку на кучу листвы.

Мишка принялся грести от кромки газона.

Бригада работала молча.

Зигунов вдруг распрямился, улыбнулся, тряхнул головой:

– Ой... что-то... щас вот...

Он оттопырил обтянутый синими брюками зад и громко выпустил газы.

Сотсков выпрямился, удивленно посмотрел на него и сделал то же самое, но только слабее и короче.

Ткаченко наставил на Сотскова тонкий палец:

– Артиллерия... пли...

И лаконично пукнул.

Салазкин и Мамонтов оперлись на грабли и выпустили газы почти одновременно.

Творогов наклонился сильнее, лицо его напряглось:

– Оп-ля... оп-ля... оп-ля...

Он слабо пукнул три раза.

Сохненко поднял обутую в резиновый сапог ногу:

– Ну-ка... по изменникам Родины...
Но пукнул слабо.
Саламатин удивленно качнул головой:
– Еп твою... ни хуя себе... это что ж такое? Что, все сразу? В честь чего это?
Зигунов пожал плечами:
– Как – в честь чего? В честь первого субботника нашего товарища был произведен артиллерийский салют из орудий среднего калибра. Теперь за тобой очередь, Егорыч...
Улыбаясь, рабочие смотрели на него:
– Давай, ветеран, по-ударному...
– И ты, Миш, не отставай.
– Давай, чего стоишь. Не отрывайся от коллектива.
– Честь бригадирскую не роняй, орденосеиц...
– Давай, давай, Егорыч... все ведь на тебя равняются...
Саламатин почесал висок, засмеялся:
– Ну, раз такое дело...
Он слегка нагнулся, закричал.
Мишка тоже напрягся, посмотрел под ноги и пукнул первым, но – слабо, еле слышно.
– Ну, Михаил, слабовато...
– Ничего, у него юбилей сегодня... простительно...
Все посмотрели на замершего бригадира и замолчали. Его широкое коричневое лицо, побронзовевшее от лучей заходящего солнца, было обращено вдаль, руки вцепились в колени. Полные губы бригадира сжались, под бронзовой кожей на скулах заходили желваки, седые брови сурово сдвинулись.
Он еле слышно застонал, наклонил голову.
Затаив дыхание, бригада смотрела на него.
Раздался громкий хлопок и сочный раскатистый треск.
Рабочие молча заплотировали.
Саламатин снял кепку и поклонился.

В Доме офицеров

Костенко вздохнул, убежденно потряс седой, крепко посаженной головой:

– Нет, Саша. Время тут ни при чем. Время – песок. Не в нем дело...

– А в чем же, Петь? – Низкорослый Бородин подошел к левому стенду. – Что ж ты думаешь, о нас вечно помнить будут?

– Ну, вечно не вечно... это не нам судить. – Костенко захромал вдоль стендов, висевшие на его мешковатом кителе медали тихо позвякивали. – В конце концов мы же не за себя воевали. Не свои шкуры спасали.

– А вот это ты зря. При чем тут шкуры? Каждый жить хочет.

– Правильно. Но ты же там, под Сталинградом, за спиной-то за своей ведь не только свою жизнь чувствовал.

– Конечно. – Бородин разглядывал фотографии военных лет. – Но и свою тоже.

Костенко сощурился, посмотрел на него и улыбнулся:

– А я вот, знаешь, – нет! Не чувствовал!

– Не ври.

– Вот как на духу! Сначала под Смоленском было немного, когда впервые немца увидел, танки, огонь. А потом, под Сталинградом – нет! За себя не боялся. Сперва семью помнил, а после в груди что-то отпустило и будто свободней стало. И сразу страх ушел. Семья на второй план ушла.

– А на первом что было?

– На первом... – Костенко потер переносицу. – Знаешь, это трудно объяснить...

– Что – трудно?

– Я когда добровольцем пошел, нас тогда с Киевского отправляли. Ну, толчея, понятное дело. Народ провожает. Маша с отцом была. Мать-то в Астрахани тогда оказалась. Вот. Простились. Они поплакали. И вот поезд, понимаешь, трогается, я на подножку влез, там уж гроздьями висят такие, как я, бритоголовые. Мальчишки такие же. Влез, оглянулся, и вот, знаешь... вот что-то здесь... – он приложил левую руку к кителю, накрыв два ордена Красной Звезды, – что-то всплыло...

– Жалко стало?

– Да нет. Не то. Я до этих нежностей телячьих не очень был. У нас в семье мужики суровые были, деловые. А вот там, на вокзале... оглянулся и вижу – бегут. И все – бабы, бабы, бабы. Бегут и смотрят. На нас. И будто ждут ответа какого-то. Бегут и смотрят. И молча все, молча...

Он помолчал, потом повернулся к Бородину:

– Так вот, Саша, я всю войну этих баб помнил. Чувствовал. И под Сталинградом, и под Киевом, и под Варшавой. И бывало, как чуть сробею – так сразу они. Как живые. Тут как тут. И бегут и смотрят. Я, может, поэтому только и выжил, что вот они так всю войну смотрели на меня. Ответа требовали...

Бородин закивал:

– Ясно. А у меня, как, бывало, бомбежка глухая или через Днепр переправлялись когда, деревенька наша мерещилась. И знаешь, не то чтоб праздник какой или что, а вот словно утром. Утро такое летнее, тишина, и дымы кверху от изб тянутся. И небо синее-синее такое. И липа цветет...

– А ты разве не в Оренбурге вырос?

– В Оренбург мы в тридцать восьмом переехали. Мальцом-то я на Рязанщине рос.

– Понятно... А я в деревне редко бывал...

– Ну, ты у нас городской человек. – Бородин похлопал его по руке и показал на стенд. – Вон она, артиллерия, бог войны.

– Да... мощные гаубицы.

– А главное – стволы-то коротенькие, а бьет будь здоров.

– А вон шмайсер штурмовой у немца.

– У штурмовых вроде калибр поболее был?

– Да... вон, воронка какая...

– Бомба, наверно.

– Наверно... Снаряд такую не вспашет...

Постояли возле стенда, посвященного битве за Москву.

Костенко захромал к двери, махнул рукой:

– Пошли, я тебе Ленинскую комнату покажу.

Бородин бодро зашагал следом:

– Ты, я вижу, тут прям как дома.

– А что ж. Куда фронтовику податься. В военкомате с молодежью беседую да тут...

Они вышли в коридор.

Костенко хромал впереди, его седая, коротко подстриженная голова плавно покачивалась, медали тихо позвякивали:

– Шас-то еще рановато... сорок минут до сбора... видишь, нет никого... но ты молодец... пораньше пришел... шас все ребята соберутся... Кононов... Хлустов, Иващенко... помнишь Иващенко Петю?

– Это из третьей роты, что ль?

– Да. Младший лейтенант. Рыженький такой.

– Его под Харьковом ранило, кажется, да?

– Да, да. Он нас догонял потом...

– Петь, а Коля Золотарев жив?

– Нет. Помер лет десять назад.

– Жаль...

– Жаль, конечно. Веселый парень был. И умер рано.

– Веселый. Это я помню.

Прошли коридор, Костенко распахнул обитую коричневым дверь:

– Входи...

Бородин вошел, огляделся.

Посередине светлой просторной комнаты стояли несколько новеньких столов, вдоль стен теснились шкафы с книгами, в правом углу возвышался белый бюст Ленина, с корзиной цветов у подножия, а рядом с ним в узком стеклянном ящике покоилось полинявшее, местами пробитое знамя.

Бородин подошел к ящику, наклонился:

– Петь... погоди-ка... так это что... нашего полка?

– Нашего, нашего, Саша, – тряхнул головой Костенко, – то самое.

– Быть не может...

– Может, Саша. Все может.

– Но как же удалось? Они ж все небось в дивизии должны быть на хранении? Это же невозможно...

Костенко подошел к нему, положил руку на плечо:

– А как ты, Саша, тогда под Варшавой связь тянул с Серегой Жогленко? Вас тогда добрых десять пулеметов поливали и видно было как на ладони, я тогда все губы пообкусал, глядя на вас. Тоже казалось – невозможно! А вот смогли ведь? Смогли! Потому как хотели! Хотели! И смогли.

- Ну, так это другое дело, Петя...
- Нет, Саша, дело у нас везде одно! Только захотеть надо. Очень захотеть. Я вот захотел. И вот – знамя перед тобою. Наше знамя.
- Да. Мощный ты человек, Петь.
- Фронтовой я человек, если точнее! – засмеялся Костенко.
- Бородин разглядывал знамя через стекло:
- Господи, неуж оно самое?
- Оно, оно.
- Его все этот сержант носил, высокий такой. Вот бы с кем встретиться.
- Нет. Этого я и не видел после.
- А Семенова видел?
- Нет.
- А Саню Круглова?
- Тоже нет что-то. Евстифеева видел, Круглова нет.
- А Люську-переводчицу не встречал?
- Нет. Она, говорят, на юге где-то живет. В Новороссийске, кажется...
- Бородин покачал головой:
- Знамя! Надо же... вот не ожидал... пробитое... вон пробито как... хватило ему осколков...
- Всем хватило. И людям и материи. У меня четыре вынули, а один так и застрял в лопатке. Боятся вынимать. Позвоночник близко.
- А у меня из ноги еще в сорок шестом выковыряли. Два года носил гада. Колючий такой, прям как еж. Щас как к дождю – болит нога.
- Зато у меня нечему болеть, Саш. – Костенко, улыбаясь, топнул протезом.
- Ну, ты бегаешь, я скажу! Почище молодого. С ногами не догнать.
- Так я и до войны дома не сидел. Комсомолил вовсю. Мне недавно протез предлагали какой-то импортный. С шарнирами, с ботинками. А я вот из принципа носить не буду! Пусть железка торчит, пусть все видят, чего стесняться. Может, кое-кто и задумается и вспомнит, что надо вечно помнить.
- Правильно.
- А главное – привык к ней. Как нога стала. И не скользит совсем. Вот пироги какие...
- Саш, а отчего ты китель не надел?
- Бородин засмеялся:
- Так он же старый весь. Молью поеденный.
- Не сберег?
- Да после войны кто ж китель бережет? В шкаф запихнули, а после на антресоли.
- А у меня Дуня сберегла. Нафталином сыпала, чуть не перчила. Вот, видишь? Вроде б ничего, а?
- Костенко слегка приподнял руки и посмотрел себе на грудь.
- Как новенький, Петь. И ты молодцом.
- Стараемся, стараемся, Саш.
- Из-под шкафа, заставленного полным собранием сочинений Ленина, выскочила крохотная серая мышь, обогнула ножки стола и заспешила к полуоткрытой двери.
- Костенко шагнул ей навстречу, поднял протез:
- Сука...
- Мышь шарахнулась было назад, но потертый металлический наконечник с хрустом раздавил ее.
- Расплодились, гады... пакость какая...

Костенко оттопырил протез с висящими на нем останками мыши и, балансируя на одной ноге, тяжело запрыгал к стоящей в углу урне. Медали звенели от каждого прыжка, воротник кителя, топорщась, наползал на толстую шею.

– Ведь предлагал весной полы перебрать. Не послушались...

Оперевшись о шкаф, он сунул протез в пластмассовую урну, счистил о край окровавленные ошметки.

Бородин посмотрел на оставшееся пятно:

– Маленькая какая мышь-то...

– Маленькая?! – грозно ухмыльнулся Костенко, топая протезом по полу. – Тут, ебен мать, такие маленькие попадают – охуеешь, смотревши! Эта исключение какое-то. Мелюзга подпольная. А то – во, бля, шушеры какие!

В упор глядя в глаза Бородина, он развел руки на ширину своей груди.

Бородин посмотрел и серьезно кивнул головой.

Санькина любовь

Всеволоду Некрасову

Белобрысый Валерка проворно влез на велосипед, взялся за обмотанный изоляцией руль:
– Сань, а Степка говорит еще, что он не комсомолец и человек семейный, а ты, Сань, говорит, кончил сам недавно, да еще сознательный. Пусть со школьниками и возится. Так и передал...

Сидящий на крыльце Санька усмехнулся, вздохнул:

– Да я бы все равно пошел завтра. И без его отказа. Он им прошлый раз про дизель такого натрепал – никто не понял ничего. Заново объяснять пришлось. Пусть уж лучше со своими корешами у магазина толчется...

Валерка усмехнулся, отталкиваясь ногой от земли.

Санька встал с лавочки:

– Передай ему, что он лодырь и дурак. Хоть и семейный.

Валерка засмеялся и покатил по дороге.

Санька спрыгнул с крыльца.

Лежащая на траве Найда вскочила и, повиливая длинным черным хвостом, подбежала к нему.

– Пошла! Пошла отсюда!

Он шлепнул себя по коленке.

Поскуливая, собака отскочила.

Санька пробрался через палисадник, повернул щеколду двери сарая, отворил.

Фонарик лежал на полке между рубанком и банкой с гвоздями. Санька взял его, сунул в карман брюк. Наклонившись, нашарил справа в углу початую бутылку водки, заткнутую бумажной пробкой, вытащил пробку, глотнул.

Водка обожгла рот.

Он сплюнул, заткнул бутылку, сунул в карман и оглянулся. Солнце давно село за утонувшую в ракитах хату Потаевых, оба стада прогнали. Еле заметный туман сползал в балку, размывая темные силуэты бань и погребков. На той стороне паслась стреноженная лошадь Егора.

Санька взял лопату, перелез через прясла и неторопливо пошел по огородам. Картофельная ботва, чуть тронутая росой, шуршала о его брюки. Впереди выпорхнул витютень и стремительно полетел прочь. Санька перехватил лопату у черенка и понес, волоча ручку по ботве.

Вскоре огороды сменились широким полем люпина.

Сзади, со стороны деревни, слышалась танцевальная музыка. Санька обернулся. Отсюда, с холмистого поля, было видно, как в приземистом клубе зажглись окна.

Он сплюнул и быстро пошел, подхватив лопату под мышку.

Высокое, подпаленное алым с запада, небо было чисто, звезды слабо поблескивали над Санькиной головой. Впереди темнел лес. Пахло выгоревшим на солнце люпином, который нещадно хрустел и пылил под Санькиными ботинками.

Санька остановился, достал бутылку, отхлебнул:

– Горькота-то...

Вдалеке по дороге из леса поехал трактор с зажженными фарами.

Санька спрятал бутылку, вытащил пачку папирос, закурил. Поле уже кончалось, и началось мелколесье.

Трактор спустился в лог. Звук его стал слабым и вскоре пропал. Покуривая, Санька вошел в мелколесье. Оно сплошь поросло кустарником, некошенная трава доходила до пояса.

– Я-то ведь и не виноватый, – пробормотал он, продираясь сквозь траву. – Что ж мне теперь...

Задев за ствол молодой березки, лопата выскользнула из его рук. Он нагнулся, поднял ее и положил на плечо. Справа показалась дорога. Санька вышел на нее, оглянулся.

Деревья смутно вырисовывались в темноте, в избах горели окна. В клубе играла музыка.

– Сами на эту работу ее подначили, гады...

Он быстро зашагал по дороге.

Впереди, посреди поля высилась роща разросшихся кладбищенских берез.

– Гады...

Санькин голос дрогнул.

Дорога была забита мягкой пылью, ботинки месили ее.

– И опять же... ну почему не в библиотеке? Почему?!

Он с силой ткнул лопатой по дороге и поволок ее за собой.

Красной мигающей точкой пополз по небу самолет.

Дорога сворачивала вправо, но Санька сошел с нее и по заросшей травой тропинке зашагал к кладбищу. Гнилой забор, местами упавший, огораживал толстые, тесно стоящие березы. Бурьян и трава росли вокруг.

Санька подошел к двум покосившимся столбам, означающим ворота, оглянулся. В поле не было ни души. Только слабо играла музыка в скрывшейся за мелколесьем деревне.

Он вошел на кладбище, косясь по сторонам, двинулся меж могилами. Здесь пахло древесной прелью и ромашкой. Березы слабо шуршали над головой.

Обойдя четыре огороженные могилы, Санька переступил через березовый комель и остановился, сложив руки на ручке лопаты:

– Вот...

Перед ним возвышался продолговатый холмик, обложенный искусственными венками и цветами.

Он достал фонарик и посветил.

Сверху в мешанине бумажных цветов лежала простая металлическая дощечка.

На ней было торопливо выгравировано:

СОТНИКОВА

Наталья Алексеевна

18.1.1964–9.6.1982

Санька включил фонарик, достал бутылку, отхлебнул.

Что-то зашуршало возле обросшей травой изгороди. Посветив туда фонариком, он поднял кусок земли, кинул. Шуршание прекратилось.

Он опустился на колени, потрогал дощечку, шмыгнул носом:

– Вот и я, Наташ... здравствуй...

Какая-то птица пролетела над кладбищем, рассекая ночной воздух быстрыми крыльями.

– Я, Наташ... я это...

Санька помолчал и вдруг заплакал, ткнувшись носом в холодную дощечку.

– Ната... шенька... Ната... шень... кааа...

Фонарик вывалился из его рук.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.